



Леонид Машинский

Беги и смотри

Леонид Александрович Машинский

Беги и смотри

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29822718

SelfPub; 2018

Аннотация

Каждый человек проживает множество жизней во сне и наяву, но все эти жизни более или менее параллельны. Сможет ли человек, не умирая, покинуть свои привычные рельсы, пойти по перпендикуляру, вылупиться из собственной плоскости? Попытке ответа на этот вопрос посвящён роман.

Реальность

«Если попытаемся мы сказать тебе слово - не тяжело ли будет тебе...»

Иов 4,2.

Я давно это понял. Я давно понял, что надо бежать. Но любовь держала меня, держала в своих цепких объятиях. Я столько раз говорил ей, что люблю её, я так просил её быть моей, уйти со мной. Но теперь я остаюсь там же, где был и неделю, и месяц, и год назад. Моё бегство откладывается. По уважительным причинам. Только сам я не уважаю эти причины. Любой другой сказал бы, что ничего не поделаешь, надо ждать и терпеть, а возможно, только терпеть. Что ещё остается?

Я попал в западню. Вернее, может быть, я всегда был в западне? Я в ней родился, в ней вырос... Но почему раньше я этого не чувствовал? Детство похоже на розовые очки, но краска на стёклах выгорает, сами стёкла становятся мутными. Я многое понял, или мне казалось, что я многое понял. Но то, что началось, никак не хотело приходить хоть к какому-нибудь пристойному драматическому финалу.

О, если бы я сам что-нибудь понимал! Застаёшь себя среди разорённой квартиры, и даже не можешь понять, ночь или день. И не можешь вспомнить, пил ли ты вчера, и если пил,

то с кем. Может это были наркотики? Может, это виновата болезнь? Эпилепсия?

Но через некоторое время всё встаёт на свои места. Понимаешь, что ночь, что за окном горит фонарь, шумят деревья, где-то проезжает машина. Эта реальность похожа на ту, которую ты помнишь с детства. Только и всего. Нет никаких доказательств, что это – единственная возможная реальность.

У меня что-то накапливается в груди, не то боль, не то духота. Может быть, у меня туберкулёз или ещё что-нибудь похуже. Мне хочется кричать, но, во-первых, я не знаю, к кому я мог бы обратиться со своим криком, во-вторых, я боюсь разбудить кого-то невидимого. Зачем? Зачем мне будить его? Что я ему скажу? Чем то, что я ему скажу, лучше сна, которым он забылся? На самом деле, я вообще не знаю, что хочу сказать.

Утро приходит без особых сюрпризов. То, что я не знаю, где я проснулся, давно перестало меня волновать. Всегда что-то меняется. День сменяет ночь, весна – зиму, и т.д. Что в этом удивительного? Человек бодрствует и видит сны. Многие склонны чётко различать эти состояния. Но мне кажется, нет никакой грани, что бы как-то различить между собой наши ночные и дневные грёзы. В равной степени и то, и другое является иллюзией. В равной степени и то, и другое иллюзией не является.

Нет, ориентиры не утеряны вовсе. Можно встать с посте-

ли, можно даже убрать постель. Можно сделать зарядку, почистить зубы, принять душ. Я не знаю, есть ли здесь холодильник и есть ли что-нибудь в нём, но если в нём всё-таки что-нибудь есть, можно позавтракать.

В конце концов, чашка крепкого кофе создаст иллюзию трезвости. Некоторые, как говорят, страдают алкоголизмом и наркоманией, но мне кажется, что это такие же иллюзии, как и всё прочее. Просто когда иллюзии становятся несколько проще, человек отдыхает. Может быть, именно поэтому он так склонен оглушать себя какими-то странными жидкостями и дымами?

Я вот даже не помню, курю я или нет. Курил ли я когда-нибудь? Вспоминаются почему-то белые акации, плывущие мимо поезда на повороте, и запах дыма. Тепловозного, а отнюдь не табачного.

Я влип. Любовь? Да – эта будет покруче всех иллюзий. Может это не иллюзия? Или – это та единственная иллюзия, за которую мне хотелось бы уцепиться? Но я ощущаю смутную опасность. Я не знаю, что такое жизнь, но всё-таки хочу жить. Любовь угрожает моей жизни. Или жизнь, или любовь.

В холодильнике есть колбаса, и это ненадолго прерывает поток философских прозрений, только что безостановочно мелькавших в моей голове. Я жую, и у меня хрустит в висках. Я вспоминаю, не могу не вспомнить, что у меня в зубах дупла. Может, это и есть реальность?

Всё-таки процесс насыщения, впрочем, как и противопо-

ложный ему процесс очень успокаивает. Под полуприкрытыми веками начинает смутно брезжить что-то хорошее, что-то такое, что якобы может вот-вот произойти. И неправда, что ничего такого никогда не происходит.

Самое главное – вспомнить куда и зачем я должен идти. Но вместо этого, я вспоминаю Юнга и его теорию о подвешенном человеке. Я вероятно являюсь идеальным случаем подвешенного человека. Только вот – кто и на чём меня подвесил? Почему-то я представляюсь сам себе болтающимся на каком-то неуклюжем, но мощном кронштейне, торчащем из давно не крашенной, когда-то жёлтой, стены неуютного малооконного дома. У меня под ногами этажей пять, а то и восемь зияющей пустоты. Я одет в какой-то старый, но ещё прочный, почти бесцветный плащ, и кронштейн пропущен сзади мне под воротник. Очень неудобно – грубое железо упирается в затылок, кровь приливает к болтающимся без опоры рукам и ногам. А сам я вынужден смотреть только вниз и никогда в небо, и лишь боковым взором я замечаю скитающихся по небу голубей.

Пока я воображал себе такое состояние, моё тело привычно выполняло нехитрые утренние ритуалы. Вот я уже почти одет, но присел на заправленную кровать. В руках у меня кепка, она-то и сбила меня с толку. Я её было надел, а потом, почувствовав что-то непривычное на голове, снял, и теперь озадачился вопросом: давно ли я последний раз ходил в кепке? Этот вопрос вызвал у меня ступор. Я чуть было опять ни

завалился на постель и ни уснул. Новая реальность отличалась от того, что я мог себе вообразить. Вот – эта кепка...

Уверенность в том, что состоишь из атомов, вовсе не делает тебя прочнее. Знание о том, что за пределами земной атмосферы почти абсолютный вакуум, не добавляет нам плотности. Если мне хочется выбраться из этого странного киселя, то почему я из него не выбираюсь?

Собственно, кто и что мне обещал? Почему я ещё питаю какие-то надежды? Скажем так: что-то продолжается, некое действие. Условно назовём это жизнью. Хотя бы условно. Раз так, то что-то, хотя бы чуть-чуть этого чего-то, есть впереди. Я ведь вот сейчас вроде бы сижу и не умираю, и время идёт. Значит – почему бы не иметь надежды, что что-то изменится. Даже наверняка что-то изменится. Например, после этого дня опять настанет ночь. Вот, если подойти к окну и достаточно долго смотреть, то наверняка увидишь какую-нибудь птицу или прохожего. Есть повод надеяться. Может быть, нельзя надеяться на то, что что-то переменится в голове у другого человека? Но разве у меня в голове никогда ничего не меняется?

Этот вопрос оказался опасным, он опять заставил меня замереть у окна в нелепой позе. Вдруг мне представилось, что в каком-то смысле я могу быть подобен картине, вот этому неотчётливому отражению в неровном стекле. Вот эта ослабленная, как бы куда-то улетающая физиономия. Невесомость. Может быть, если выпустить кепку из рук, она не упа-

дёт? Я выпускаю. Кепка падает. Как хороша реальность! Или то, что называется реальностью.

Вот я уже совсем одет. Кепка как кепка. На улице ветер и, вероятно, осень. Ветер срывает с тонких берёз последние, закрученные в воронки, листья. Пахнет тонкой пожухшей опалю и сухим морозцем. Хорошо, оказывается, что что-то у меня есть на голове, хотя бы эта кепка. Но уши мерзнут.

В городе – а это несомненно город – почти пусто. Подозрительно пусто. Может быть, в этот день они поскупились на декорации? Может быть, актёры ушли в отпуск? Я хотел бы пойти туда, куда идёт большинство. Но на улице нет большинства.

Трамвай. Уже останавливается. Я бегу к нему. Очень хорошо, что пришёл трамвай, уж он-то наверняка куда-нибудь меня отвезёт. Если ты не очень знаешь, куда и зачем тебе ехать, не спрашивай об этом у случайного встречного. В лучшем случае он примет тебя за сумасшедшего. Дорога сама подскажет, куда она ведёт. Чем ближе к её концу, тем виднее.

Сострадание

*«Да не допустят Будды, являя силу своей милости,
чтобы меня обуяли в Бардо страх, ужас и трепет...»*

Бардо Тёдол

Существует ли смерть? Это наверно самый идиотский во-

прос из всех, какие вообще кто-нибудь кому-нибудь мог бы задать.

Если я умру, что со мной произойдёт? Может ли со мной ничего не происходить?

Я сую руку в карман, и обнаруживаю там деньги. Деньги – это тоже реальность. Можно, например, заплатить за билет. Деньги гарантируют тебе хоть какое-то общение, конечно, при условии, что поблизости найдётся ещё хотя бы один человек. А если этот человек будет сумасшедшим? Если он не понимает, что такое деньги?

Я кажусь себе совершенно глупым. Это неудобно. Я должен сказать что-то умное. Я должен? Мне хочется плакать. Я стыжусь. Может, меня кто-нибудь пожалеет? Но на что, собственно, мне жаловаться?

Я смотрю за окно. Солнце. Солнце само по себе прекрасно. Я улыбаюсь. Это не деланная улыбка, или почти не деланная. А что, в конце концов, если не солнце, способно вызывать у меня улыбку? Мороз и солнце... Только снега нет.

Я приехал. Конечная станция. Отсюда ходят электрички. Куда-то. Может быть, это мой шанс сбежать из города? Но куда и для чего я должен бежать? Что я там буду делать? Где – там?

Я ведь всё это знаю. Я только притворяюсь, что не знаю. Не может быть иначе, я знаю. Опять вспоминаю её. Может быть, я должен ехать к ней? Наверняка должен. Боль. Опять будет больно. Может быть, я наконец проснусь?

Как хочется спать. Это солнце заставляет слипаться мои ресницы. Никогда я не чувствовал себя более бессильным. Что я могу? Повернуть время? Изменить себя? *Её*? Всё, что она говорит, кажется мне неправдоподобным. Все чувства, о которых она сообщает, кажутся мне ненастоящими, её чувства. А мои чувства – настоящие? Может быть я вообще не испытываю никаких чувств? Может быть, это всё только блики на воде? Или – более осязаемо – упавшие в воду, уже мёртвые листья. Они разлагаются, становятся чёрной водой, от них вода чернеет, приобретает свой характерный весенний цвет.

Ты будешь мне, в конце концов, отвечать или нет? Это я у тебя спрашиваю? Это я пытаю тебя, свою душу? Будешь говорить? Только от этого не легче. Всё – как во сне. Хочешь убежать – изо всех сил стараешься. Но какой-то неведомый режиссер включил предательский рапид. Хорошо ещё, если и для преследователя – те же правила игры. Но он нагоняет – ой, нагоняет! Бьёшь врага по лицу, а рука ватная – словно у тебя и нет руки. Может, и нет никаких рук? Как у того парня, который стоит в переходе между станциями «Охотный ряд» и «Театральная»?

Говоришь. Но это какие-то – вот такие же бессмысленные слова. И я вынужден признать, что мои слова ничуть не лучше. Они даже хуже. Ведь ты сильнее – ты не любишь меня, а я тебя люблю.

Можно вычислить, когда это начало происходить. Но мог-

ло ли это не начаться? Есть большой соблазн наивно полагать, что чего-то могло не быть. Может быть, это от большого желания, чтобы чего-то не было? А как же жить? Может, мы хотим умереть? Не хотим мучиться?

Опять я чувствую себя последним глупцом. Сажусь в электричку. Еду. Кажется, я забыл купить билет. Нет, купил. Билет – это тоже реальность.

Когда реальность ускользает из рук, помогают бумаги – деньги, билеты, документы... Я судорожно нащупываю паспорт у себя на груди, во внутреннем кармане плаща. Велик соблазн – вынуть его и убедиться, моя ли там фотография. Но я не хочу расстраиваться – вдруг не моя? Но всё же какой-то паспорт есть. Поехали. За окном начинает мелькать реальность.

Ты, может быть, не любишь меня. Но я тебя люблю. Добавляет ли это реальности? Если бы я мог хотя бы дотронуться до тебя, безнаказанно коснуться. Почему я тебя боюсь? Боюсь, что ты исчезнешь? Но тебя и так нет. Мне нечего терять. Разговаривать с тобой – это всё равно, что разговаривать с эхом. Может я брежу – веду разговор сам с собой? Но почему же, в таком случае, я не могу ответить самому себе «да»? Хреновый из меня гермафродит!

Бегу, бегу, бегу... Куда? За границу? Да нет никаких границ – кончились все. Стёрли их ластиком. Включить телевизор и увидеть другие страны. Телевизор придумали, другие страны тоже придумали. Нет никаких других стран. Дру-

гие страны существуют только в моей голове. Я – абсолютный идеалист, солипсист... Может быть, ты тоже существуешь только у меня в голове? Но отчего же ты тогда болишь? Это голова болит. Всё понятно.

Понятно, и я почти счастлив. Я смотрю в окно. Главное вовремя себе всё объяснить. Вот было бы потеплее – поднял бы стекло и высунул бы голову наружу, чтобы её там обдуло свежим ветром. Вероятность того, что реальность является реальностью – совсем невелика. Вероятность того, что вообще существует какая-то вероятность...

Я слабый, ничтожный, глупый, ещё раз глупый. Я ничего не могу, я исчезаю. Я неспособен победить, я не знаю пути к победе. Может быть, я даже его знаю, но не умею по нему идти. Нет у меня способности – бесталанен я.

Хорошо, что рельсы не очень петляют. Хорошо, что я не держусь за руль – мне бы наверняка захотелось повернуть вбок, потом ещё вбок. В конце концов я бы обязательно сверзнулся в кювет или бы врезался в дерево. Дерево жалко. Вот – пожалел. Как всегда.

Я устаю от самого себя. Я хочу уснуть. Я закрываю глаза. Мне жалко того, что я уже не смотрю в окно. Мне жалко того, что за окном. Ко всему, что за окном, я способен испытывать сострадание. Значит, не так уж я и бесталанен...

«Трагедия есть подражание действию важному и законченному...»

Аристотель

Есть такие люди, которые только и делают, что выдумывают сюжеты, один глупее другого. Хороший сюжет выдумать трудно, почти невозможно, поэтому выдумывают плохие. Но публика непритязательна. В сущности – всё, чего она хочет, это иллюзии времени, т.е. чтобы у неё создалось впечатление, что нечто происходит, именно нечто, а не что-то. Слишком осязаемая, слишком грубая реальность больно ранит воображение. Колыбельная должна быть пропета тихо.

Я хочу колыбельную! Почему мне никто не поёт колыбельную? Или это я вру, что хочу? То хочу, то не хочу. Вот сейчас хочу. И уже сплю. Уже сплю, значит не хочу. Пульсирующее желание. Неустойчивый дефект – самый трудноустраняемый дефект в любой технике. Я – техника на грани фантастики. Я мужчина на грани нервного срыва. Может быть, я вообще не мужчина? С чего я взял, что я мужчина?

Но вам нужен сюжет? Вот сейчас, сейчас... Сейчас уже начнётся.

Война

«Но вдруг неожиданно воздух надулся

И вылетел в небо, горяч и горюч...»

Д. Хармс

В соседней комнате взорвалась какая-то петарда. Но я тут же понял, что это не петарда, а шашка с ядовитым газом. Часть стены обвалилась, и в пролом начал вползать дым. Я взял тебя за руку, и мы побежали. Не помню, что я говорил тебе. Слова не были важны – ты и так понимала меня. Нам нужно было спастись. Здесь было слишком опасно, уже скоро можно было умереть.

Мы выбежали первыми. Я словно предчувствовал это наваждение. Люди за нами тянулись как-то медленно, как и преследующий их дым. Может быть, это уже сказывалось действие яда? Ты приотстала. Вероятно неторопливость всех остальных вызвала у тебя сомнения. Может быть, ты что-то забыла там?

И тут я узнал тебя. Ты не была моей женой. Ты была той, другой, от которой я терпел боль. Но это была ты, никакой другой не было. Я увидел твои пронзительные зелёные глаза, вернулся к тебе, схватил тебя за руку и потащил за собой.

Мы работали с тобой на каком-то совместном предприятии, или, может быть, это была американская база под Москвой. Теперь нас расстреливали, началась война, большая или маленькая. Пора было уносить ноги.

Мы не то, чтобы бежали очень скоро, но мы были первыми. Остальные участники «забега» как-то уж очень расслаб-

лено растянулись по «беговой дорожке».

Я увидел в небе самолёт, он летел кого-то бомбить. Может быть, нас. Мы побежали быстрее. Ты, слава Богу, вышла из ступора и окончательно убедилась, что здесь нам оставаться очень нежелательно.

Асфальт был мокрым от росы. Поздний вечер, или очень раннее утро. Сумерки. Я не мог различить, какая сторона неба светлее. Слышался вой и дальние разрывы. Мы выбежали за ворота. На вахте не было никакой охраны. Их то ли убили, то ли они поддались всеобщей панике. Ворота были распахнуты, вернее, раздвинуты настежь.

Шоссе. Пусто. Сразу за шоссе – лес. Ни одной попутной машины, вообще ничего. Да и куда нам с кем по пути? Мы бежали пока ни выбились из сил. Я конечно выбился первым. Я предложил свернуть в лес. В лесу было сухо, мы сели на травяные кочки под соснами. Я долго сглатывал липкую слюну. Ты молчала. Я боялся выпустить твою руку. Тебе, должно быть, было противно. Ты молчала.

– Куда мы пойдём? – спросил я.

То же самое с тем же самым успехом могла бы спросить у меня и ты.

– А куда мы можем пойти? – спросила ты.

То же самое с тем же успехом мог бы спросить и я.

Бежать в Сибирь? Лучше всего в Сибирь. Сибирь большая, там холодно. Немногие польстятся, нескоро польстятся. Может, оставят нас в покое?

– Где мы будем жить? – спросила ты.

Я не знал, что ответить, наконец, пошутил:

– Построим здесь шалаш и будем жить. Или нет, отойдём чуть подальше, совсем далеко, и построим там шалаш, и опять-таки будем жить.

Ты кивнула. Я бы тоже на твоём месте кивнул. Что ещё остаётся? Только жить в шалаше. Это самое лучшее. Только мил ли я тебе? Вот не знаю. Мил ли я самому себе? Самолёты вроде стихли. Может, выйдем на шоссе?

– Может, будет ядерная война? – спросила ты.

– Да, может, будет ядерная война? – спросил я.

Оба мы посмотрели на небо сквозь ажурные ветки. Светлело. Значит всё-таки утро.

– А где мы находимся? – спросил я.

Ты удивлённо посмотрела на меня.

– Вероятно, в лесу, – ответила ты.

Я кивнул.

– Будем выбираться, – сказал я.

Ты кивнула.

– Есть хочется, – сказал я.

Ты кивнула.

Мы уже на шоссе. Мы поймали машину. Какую-то легко-ушку не первой свежести, фиолетовую. Денег у меня нет, а впрочем, есть. Но не так много. Мы доехали до Москвы. В Москве не было войны. Мы расплатились с шофёром и сели в метро.

– К тебе? – спросила ты.

– Ко мне? – спросил я.

Бегство

«Великие полководцы, превозносившие твоё имя и славу, будут думать, что лишь из страха ты покинул поле боя...»

Бхагавад-Гита

Тут приходится разбираться, где я нахожусь. Я прихожу к себе домой и обнаруживаю там тебя. Не только тебя, но и ещё двух мужчин. Эти мужчины мне не нравятся, они ко мне очень плохо относятся. Наверно, это какие-то бандиты или правительственные чиновники, или ещё какая-нибудь сволочь... Какое отношение к ним имеешь ты?

Они говорят мне, что я всё равно не убегу! Они не убивают меня прямо сейчас не потому, что не хотят, а потому, что уверены, что я никуда не смогу деться.

Наверно, они думают, что я не уйду без тебя. Но я же вижу, что ты с ними. Останусь – и погибну у тебя на глазах, возможно бесславно. Лучше всё-таки попробовать убежать. Здесь уж точно нет никаких надежд. Конечно лучше было бы взять тебя с собой...

Последний раз предлагаю, протягиваю тебе руку. Ты смотришь как-то странно, ты почему-то не можешь. Я не понимаю. Вот – всегда так. Они что, тебя завербовали? Ты от

них зависишь? Или ты любишь кого-то из них? Например, вот этого потного мужлана? Ну что ж, не слишком плохой выбор. Я бегу, гигантскими шагами соскакиваю с лестницы.

В самом деле, что за идиотская уверенность у этих людей, что я не уйду?! Остаться? Ну оставайтесь. Даже ты – ты! – захотела остаться. Неужели в самом деле всё так безнадежно? Да нет, это гипноз, глупость! Мир ещё велик, в нём есть куда скрыться. Та же Сибирь...

Я подошёл к выходу со двора. Вот сейчас я сяду на троллейбус и уеду куда глаза глядят – только меня и видели! Но вдруг ко мне с двух сторон бросаются два инвалида:

– Вы бежите! Бежите! – кричат они восторженно.

И мне сразу становится не по себе, моя холодная уверенность начинает подтаивать.

Особенно этот инвалид справа, он без ног, от него разит дерьмом и сивухой.

– Я тоже, тоже был профессором, – горячо утверждает он и вцепляется мне в руку. – Возьмите меня с собой!

То есть они тоже хотят убежать. Но почему они до сих пор не убежали? Это не возможно? Предательская слабость появляется в поджилках. Омерзительный инвалид дышит мне в ухо мокрым беззубым ртом, и тянет, тянет меня вниз, в асфальт. Я сдаюсь, я закрываю глаза.

Я никогда не был профессором. Но если бы был – что толку? – разве это помогло бы мне бежать?

– Пойдёмте, пойдёмте! – тянет меня за руку другой инва-

лид, седой очкарик полуслепой, но, похоже, ещё вполне уверенно передвигающийся на своих двоих.

Безногий же едет за нами следом на своей каталке – громыкает на выбоинах асфальта.

Вот и троллейбусная остановка. Инвалиды провожают меня как героя. Мало того, они сами намереваются ехать со мной. На фига мне такое воинство?

Погода, надо сказать, испортилась. Идёт дождь. Я сажусь в троллейбус и делаю инвалидам ручкой. Самого настырного выпихиваю в дверь. Он, кажется, там ушибся, бедный. Я долго ещё не могу разглядеть на своём лице гадливо сочувствующую гримасу. В автобусе, т.е. в троллейбусе, никого нет – только шофёр. Шофёра, кажется, тоже нет – автоматический троллейбус. Едем. Уходим. Никакой погони. Никаких сирен. Дорога пуста. Уже и домов не видно. Откуда тут провода?

Я закрываю глаза, грустно. Я хочу вернуться домой. Но где мой дом? Там будут *эти*. Там будет *она*. С *ними*. Я плачу.

На какой-то неведомой станции я сошёл и поплёлся по перпендикуляру от шоссе по сырой траве. В траве – шмели, кузнечики. Это несколько утешает. Трава хоть и мокрая, пахнет клевером. Лечь бы сейчас и отдохнуть. Когда меня уже начнут ловить? Где кончится мой путь? Боюсь ли я, что он кончится слишком скоро? Зачем мне очень длинная дорога, если рядом не будет *её*, не будет никого?

Буду просто смотреть на солнце, смотреть на небо... Может быть, ещё встречу кого-нибудь интересного, кого-то, кто

мне поможет, женщину или лучше...

Ноги мои мокры от пят до колен, с неба опять начинается накрапывать. Я иду по лесам и полям, иду наугад. Не буду ничего придумывать, ничего планировать. Так *им* будет труднее найти меня. Они знают только логику, а я знаю... Что же я знаю?

В конце концов, я вышел в какой-то город. Снял номер в гостинице – благо деньги ещё были – и уснул. И вот я сплю, и мне снится вся моя жизнь, или как будто это была моя жизнь, ведь, может быть, эта жизнь была совсем не такой? Да и как может уместиться вся жизнь – какая бы она ни была – в одном сне?

Война

«...мы можем утешать себя мыслью, что эта война, которую ведёт природа, имеет свои перерывы, что при этом не испытывается никакого страха, что смерть обыкновенно разит быстро и что сильные, здоровые и счастливые выживают и размножаются...»

Ч.Дарвин

Когда я проснулся, в городе этом началась война. Или она начиналась везде, где бы я не оказывался.

Люди бежали, прятались. Гостиница опустела за несколько минут. Вместо постояльцев в двери ворвались солдаты. На меня никто не обращал ни малейшего внимания. Но пер-

вое, что сделали солдаты – это закрыли все номера на ключ. Так, что я остался стоять в коридоре с зубной щеткой в руке – только и успел купить себе внизу зубную щетку. Пробегая мимо, солдаты часто задевали меня плечом. Но никто не бил. На солдатах были противогазы и капюшоны – наверное, уже началось что-то совсем серьезное. Наверное, скоро я – лишенный средств защиты – умру. Это почему-то даже утешает. Никто со мной не разговаривает, словно я шкаф, – и это меня устраивает. Их интересует только пожарный рукав, который они разматывают по коридору – они готовятся тушить какой-то пожар... Может, это учения?

Я пытаюсь спуститься вниз, но снизу бегут и бегут солдаты – совершенно негде пройти. Подожду – а то ещё затопчут меня своими коваными сапожищами. А может, попробовать улизнуть в окно? Может, мне отсюда живым не уйти? Может, это *они* и есть?

Я вспомнил, что есть ещё какая-то другая лестница. Я не мог отдать себе отчета, на самом ли деле видел её или это какой-то обман памяти. Но выбирать – не было времени. Я побежал и вскоре очутился в углу, где пахло окурками и туалетом. Там, и правда, начиналась чёрная лестница.

Однако, спустившись на четыре этажа, никакого выхода в город я не обнаружил. Здесь был склад, или что-то вроде раздевалки со множеством индивидуальных шкафчиков. Ещё больше это напоминало вокзальную автоматическую камеру хранения. В одной из таких комнат, стены которой были за-

ставлены сейфами, посередине стоял стол и две скамьи. Я присел отдохнуть, а в открытые двери моего едва обрётённого убежища уже залетали солдаты.

Слава Богу, они не стали обращать на меня никакого внимания. Им нужны были сейфы – некоторые они вскрывали ключами, другие отмычками, а в двух или трёх случаях обошлось без помощи автогена – из-за этого в комнате распространился удушающий запах окалины. Во всех несгораемых шкафах было одно и то же – противогазы и средства химической защиты. Такое снаряжение вовсе настроило мои мысли на апокалипсический лад. Солдаты – как я ещё раз убедился – и сами были уже сплошь в противогазах и прорезиненных комбинезонах. Вероятно, скоро я должен был почувствовать первые признаки отравления. Но пока кроме металлической гари я ничего не чувствовал.

Хотя солдаты заняли почти всё свободное пространство в комнате, меня они по-прежнему не то не замечали, не то из-за какого-то странного уважения не трогали. Может быть, они относились ко мне как к заразному? Может быть, руководствовались каким-то странным указанием? А вдруг, они просто не видели меня, потому что я был призраком, невидимкой?

Как выяснялось у меня на глазах, из всех комплектов химзащиты военных собственно интересовали только резиновые сапоги, и то не все сапоги, а только каблуки. Они извлекали эти каблуки, или вернее то, что было внутри них некими

специальными приспособлениями. Причём один из участвующих в этом процессе солдат – а все они разделились на бригады по четыре человека – вынужден был, пренебрегая опасностью (коли таковая существовала), снять с себя противогаз и продуть, образующийся после опустошения каблука, просвет через полиэтиленовый рукав. Смысла последней операции я, естественно, не понимал, впрочем, как и смысла всего остального, что предо мной происходило. Можно было только предположить, что солдаты по экстренному приказу извлекают на свет божий какие-то, до сей поры тщательно замаскированные, запасы – не то с химическими реагентами, не то с дезактивированными возбудителями опасных болезней. Не исключено, также, что в каблуках, в раздробленном виде, хранился ядерный заряд.

Сначала мне было интересно следить за слаженными движениями воинов. Эта, вдруг возникшая, молчаливая конвейерность как-то завораживала. Но потом, от монотонности, начало клонить в сон. К тому же, ожидания смерти – которые было вызвали у меня бурное выделение адреналина – не оправдывались. В конце концов, я уснул, уронив голову на свои сложенные руки.

Голод

«...поэзии и философии была бы оказана большая услуга, если бы с помощью их нельзя было зарабатывать деньги...»

Когда я проснулся, война или учения кончились. Можно было выйти из гостиницы подышать свежим воздухом. Обнаружилось, что я хочу есть. Это сразу заставило задуматься о деньгах. Необходимо было, если не банально устроиться на работу, то хотя бы изыскать ещё какой-нибудь способ не умереть с голоду. Может быть, кто-нибудь мне вышлет сюда деньги «до востребования»? Может, она...

Эти постоянные круговые возвращения мыслей здорово раздражали меня. Раздражали своей бесплодностью.

Может быть, *они* того и ждут? Чтобы я умер с голоду? Меня, например, никуда не будут брать на работу, и я вынужден буду пойти на криминал. Тут-то меня...

А есть ли мне что терять? Только уж очень не хочется играть в поддавки с *ними*.

А что, если у меня параноидальный бред и больше ничего? А что, если я давно у *них*? Сажу в этой комнате для буйнопомешанных, – которые, наверное, бывают только в фильмах – и бьюсь в мягкие матрасные стены, воображая на них какую-то мелькающую реальность? Кто такая, наконец, эта *она*, которая вызвала в моей жизни всё идущие, идущие и никак не могущие остановиться, изменения. Сколько здесь действительно от *неё*? Сколько...

Я хотел сказать – от меня. Может быть, от других. Но, кто такие я и другие, – похоже, знаю ещё меньше. В её суще-

ствовании я, по крайней мере, уверен. Она, так или иначе, существует. Хотя бы в моём воображении. Логика. Значит, существует логика. Помилуйте, но ведь нельзя, же выводить из существования «а», существование «я»!

Меня затошнило от этой философии, и от голода. Очень захотелось кого-нибудь ограбить. Но все прохожие на улице – как на зло – выглядели скорее бедными, чем зажавшимися. Что поделаешь – провинция. Тогда – нападать на машины. Но для этого – недурно иметь хотя бы пистолет. Почему я не воспользовался только что прошедшей войной для того, чтобы прикарманить себе хоть какое-нибудь оружие? Какой я дурак!

Постепенно я пришёл к берегу озера. Песчаный берег, заброшенные раздевалки, вернее скелеты раздевалок. Никакого народа. Даже не мусорно. На вид – почти чистая, предположительно тёплая вода. Я решил, что искупаюсь. Можно даже нагишом. Ну ладно уж, не буду искушать нравственность невидимых свидетелей.купаюсь в трусах, не совсем чистых.

Это купание живо напомнило мне какое-то другое купание. Которое, может быть, мне только снилось. Да, точно снилось. Вряд ли наяву может быть такое смешение в воде – грязи, снега и купающихся тел. В какой-то момент мне показалось, что я утонул. Эта мысль в первое мгновение заморозила меня, но уже во второе – я испугался. Вода была, однако, холодная, пора вылезать.

Я сидел на скамейке под железными структурами зонтика

и стучал зубами. Капли желтоватой влаги катились у меня с посиневших губ. Вокруг не было никого. На том берегу озера росли сосны. Кажется сосны. Везёт же мне на сосновые леса. Можно подумать, что их, в самом деле, много. Захотелось втянуть ноздрями смолистый аромат. И тут же я – словно по волшебству – почувствовал его. А ведь, и вправду, мог донести его с того берега ветер.

Всё-таки меня преследует сосновый аромат, а не химическая тревога. Это лучше. Солнце светило. Я почти согрелся. Я оделся, хотя и не вполне высох. Надев штаны, и пройдя несколько шагов, я нашёл, что зря не снял мокрые трусы. Надо было бы их хотя бы выжать.

Надо было куда-то податься и чем-то заняться. Я мог бы устроиться работать дворником или внештатным журналистом. В моём понятии эти работы очень похожи – как сказал один писатель – «разработать культурологические аспекты...» Первая работа, правда, мне больше нравится. Она как-то яснее, честнее, и больше времени проводишь на чистом воздухе. Но по дороге мне раньше попалась редакция местной газеты. Газета называлась «Круг». Или это шрифт у вывески был слишком странный, и я перепутал? Впрочем, какое мне дело до названия газеты? Круг так круг.

Вспомнив о своей до сих пор насквозь мокрой заднице, я несколько застеснялся. Но, для уверенности поплевав через левое плечо, решительно переступил порог. За порогом сразу запахло тоской и пылью. За дверью в конце коридора,

в серой комнате сидело три человека. Пол одного человека отличался от пола остальных двух. У всех троих на лицах была запечатлена неизбывная, какая-то просто сверхъестественно вечная, скука. Не то от этого их выражения, не то от застарелого несвежего запаха меня опять затошнило. Я едва сдержался, чтобы не блевануть прямо на эту компанию. Может быть, их спасло лишь то, что блевать мне было нечем. Однако, судороги моего горла их нисколько не удивили.

– Здравствуйте, – сказал я, несколько раз глубоко вдохнув через рот. Я старался засасывать воздух нацеленно, из открытой форточки.

Существо женского пола подняло глаза:

– Вы по какому делу?

– Хочу устроиться на работу.

Существо женского пола подняло брови:

– Кем?

– Ну, насколько я понимаю, здесь что-то пишут. Я могу писать.

Существо женского пола поковыряло что-то в клавишах своего компьютера.

– Внештатником? – догадалось оно.

Я кивнул.

Существо женского пола посмотрело поочередно на двух остальных существ, относящихся к полу мужскому.

Никто из них ничего не сказал. Мне показалось, что один собирается вздохнуть, а второй пожать плечами. Но и этого

не произошло.

Дама закурила. Господа последовали её примеру. Я закашлялся от одного вида их дыма. Наверное, я действительно давно бросил курить. Мне уже хотелось сбежать. Может, взять и попросить их, чтобы они меня накормили, просто так, один раз? Или, может быть, ради хохмы набить этим мужикам рожи? Но, может быть, *эти* только этого от меня и ждут? Рассуждаю – как типичный параноик.

– Садитесь, – наконец сказала дама.

Я зачем-то посмотрел в потолок и сел.

Обшивка стула сразу же плотно прилипла к моему заду.

Больше всего на

свете мне теперь хотелось расправить неудобные складки штанов под собой.

– Вы приезжий? – спросила дама.

– Да, я приезжий, – ответил я. – Так что, могу я на что-то рассчитывать? Любой срочный заказ – реклама, репортаж, какая-нибудь коротышка на научную или историческую тему...

– Но что вы знаете о нашем городе?

Мужчины по-прежнему сохраняли мудрое молчание.

Я откашлялся.

Опять долгое молчание. Очень хочется встать и разглядеть штаны на жопе.

Дама стряхнула в пепельницу длинную палочку пепла.

– Насколько я понимаю, у вас сейчас нет никакой работы?

Я задумался, что ответить.

– Мы можем вам предложить работу курьера, – сказала она.

– Это временно или постоянно? – поинтересовался я.

– У вас есть паспорт? – поинтересовалась она.

– А прописка нужна? – поинтересовался я.

– А что, у вас нет прописки? – поинтересовалась она.

– Короче, – сказал я. – Есть у меня и паспорт, и прописка, только московская. Только всё это осталось в номере, в гостинице.

– Ну, приносите паспорт, тогда и поговорим, – сказала дама.

– А до каких вы работаете?

Дама посмотрела на часы:

– Ну, если обернётесь за полчаса, возможно, я смогу вам помочь. Всё-таки удивительно милая женщина.

Мужики почему-то закивали. Пардон, но я же не мыслю вслух.

– Пойдите, – сказала дама, когда я уже собрался уйти. – А какими судьбами вы – из Москвы к нам?

Я почесал горло.

– Война, – сказал я.

– Война? – переспросила дама, опять подняв брови.

Мужики закивали.

– Ну, я пошёл? – спросил я уже совсем по-курьерски.

– Идите, – кивнула дама.

Запустение

«В этой сумрачной хате для меня ничего не осталось...»

М.В Исаковский

Когда я вернулся в гостиницу, всё уже было кончено. Можно сказать, и самой гостиницы не осталось. Т.е. дом конечно стоял, и даже окна и двери кое-где были целы. Но сразу было ясно, что все сбежали отсюда даже не два-три месяца, а, пожалуй, два-три года тому назад. Всё-таки изумительные вещи творятся со временем!

Все уехали. Я обнаружил только голые стены. Ото всего этого пахло пластиком и цементной пылью. Но если верить моей памяти, моей *нормальной* памяти, каких-нибудь два с половиной часа назад здесь всё ещё дышало жизнью. Где же запах пота? И даже испарения от носков и портянок показались бы мне теперь милыми, ибо не осталось ничего. Ничего, за что можно было бы зацепиться.

Каким-то шестым чувством, всегда выручавшим автопилотом, нахожу свою комнату. Двери настежь распахнуты, обивка на них разорвана и болтается языками. Внутри мне даже не на что присесть. Но мои чемоданы собраны и стоят на полу посередине. Сколько у меня, оказывается, вещей! Тишина. Только капает вода в туалете. Значит, воду всё же не отключили? Разве что лечь на пол. Паук ползёт по белой

пластмассовой стене, ему скользко.

На меня налетает сон. Я хочу уехать? Значит, мой срок кончился? Куда? Но пока мне не хочется шевелиться. Я бессильно сажусь на пол, прямо в пыль. Когда же здесь уберут? Кажется, прошло два года...

Программа

«Разве во чреве матери мы учились жить?..»

Р.Акутагава

Я очнулся и встал с чемодана. Нужно было действовать. Значит так. Немедленно добраться до вокзала. Сесть в поезд и уехать, куда глаза глядят. Лучше всего в Новосибирск. Там я устраюсь на работу и начну новую жизнь. Не беда, что у меня нет денег – я впрыгну в какой-нибудь порожний вагон товарняка, как герой Джека Лондона. Главное – не перепутать направление – а то уедешь куда-нибудь на запад.

Прохаживаюсь по номеру взад-вперёд по диагонали, вырисовываю андреевский крест. А что', если тут порт? Что-то не видел.

Хватит уже мечтать! – бью себя по коленкам. Беру в обе руки по чемодану и выхожу на улицу. Там поют птички, сидя на липах. Вполне сносно. И трусы высохли. Расправляю их с оглядкой на прохожих. Но прохожих нет. Всё же везёт мне на пустоту.

Может всё же устроиться в «Редакцию»? Пожалуй, ещё не опоздал. Нет, опоздал. Прочь сомнения! А то вообще ничего не успею. Надо жить. Надо Спешить.

Вот уже ноги приводят меня на вокзал. И в самом деле, я нахожу какой-то товарняк. Но никаких пустых вагонов в нём нет. Я хожу вдоль состава, от головы к хвосту и обратно. Он довольно длинный. Может, попросить машиниста? Нет, буду рассчитывать сам на себя. В конце концов, я так устал. Так устал.

Я сажусь на свой чемодан рядом с рельсами. Легкий ветер ворошит былинки между шпалами. Воняет дерьмом и дёгтем. Весьма романтичный запах, запах дорог. Щас бы напиться – само бы собой всё решилось – как в «Москве-Петушки». Петушки – чем не место для человека, клюющего носом? Жаль, ни разу там не был.

Я закрываю глаза, «засыпаю». Когда я открываю их вновь, я уже еду. В каком-то наполовину наполненном углём коробе. Ну и слава Богу. Это избавляет меня от необходимости решать. Вдруг, на запад? Но гудок поезда почему-то убеждает меня в обратном. Так не гудят локомотивы, которые едут в Европу. Почему? Ну, вот птицы, которые летят на юг или же обратно с юга – они ведь кричать по-разному? И прочая чепуха...

Я вновь засыпаю. Конечно, очень неудобно. И холодно. Я весь продрог. Уже ночь. Роса. Ветер. Но кроме обычного железнодорожного коктейля, пахнет и зеленью, дремучей

растительностью, ельниками, пихтовниками, кедровниками. Наверное, уже приближаемся к Новосибирску.

Я вновь засыпаю...

Работа

«...от такого человека скрыто не только что делает его ближайший сосед, но чуть ли и не то, человек он или ещё какая-то тварь...»

Платон

В Новосибирске я устроился работать в какое-то конструкторское бюро. Оборонное предприятие, как их ещё называют. Как меня туда занесло – сам ума не приложу.

Сначала я долго бродил по улицам и искал кинотеатр с названием на «Б» – не то «Байкал», не то «Балтика» – но точно на «Б» и точно какое-то большое водное пространство. Может быть – «Балатон»? Но не река. Я ездил на Новосибирском метро, выходил на совершенно незнакомых мне станциях. Считал, похожие друг на друга как близнецы, пятиэтажки.

Никакого «Б» я не обнаружил. Но потом всё как-то само собой уладилось. И стал я работать на оборонном предприятии.

Вернее, сначала я занимался шпионской деятельностью. Недаром ведь приехал с Запада на Восток. Выслеживал ка-

кого-то конструктора или инженера (может – профессора?) по дороге домой. Он должен был проходить под эстакадой.

Тем временем уже настали холода. Всю зелень с деревьев сдуло. А эстакада над головой погромыхивала своими серыми рёбрами, как голыми костями. Профессор должен был возвращаться вечером. Темнело рано, но фонари включали вовремя. Он курил и бросал по дороге пепел. По этой-то пепельной дорожке я его и выследил, и настиг.

Потом не помню, что было. Возможно, я убил профессора и завладел его планами. Тюкнул по башке сзади какой-нибудь строительной трубой и переоделся в его одежду. Возможно, так и было. Могло же найти на меня затмение?

А иначе как я смог устроиться на оборонное предприятие? Уж наверно – на место кого-то. Нам даже платить со временем обещали лучше. И всё совсем наладилось.

Я даже где-то жил. То есть имел квартиру. Впрочем – возможно, это было общежитие – не уверен.

Сидел на кухне, курил и просматривал старые письма. Одно из них почему-то было адресовано не мне, а одному моему старому другу. Как оно ко мне попало? Интересно.

Потом я задумался и забылся. За окном что-то начало громыхать – не то молния, не то салют.

И я понял, что опять война и воодушевился. На этот раз я решил сам принять участие в войне. Твёрдо решил.

Война

«Бешеную негу и упоенье он видел в битве...»

Н.В.Гоголь

И вот я уже на танке. В Новосибирске ещё много чего происходило. Я не могу припомнить всего. Помню, гонялись за какой-то бабой, у которой в авоське были банки с тушенкой или дымовыми шашками. Поймали.

Но теперь я на танке. У нас всего два танка, но это неважно – воевать можно. Революции делаются не числом, и даже не умением. А чем же они делаются? Они делаются... Ну, их делают те, кто владеет идеями. У кого-то есть идеи – они делают революции. А остальные сидят и ждут, пока по ним прокатятся гусеницами. Таких можно и двумя танками всех передавить, постепенно конечно. Хватило бы горючего. И резерва техники.

А пока мы на взлёте. То есть на горе. И нам надо спуститься. Чтобы всё-таки начать осмысленные боевые действия. И я командую своим подопечным, чтобы поскорей стелили дорогу досками. Как-нибудь проедем. Страшно. Уж больно большой уклон. Доски ломаются под танком с таким хрустом... что хоть уши затыкай. Но мне весело.

Давно мне не было так весело. Пахнет еловой смолой. Опять – хвойные. Когда-то так пахло от крема после бритья, когда я ещё брился и был влюблён, а не уподоблялся всяким хемингуэям и кастрам. Сердце замирает, как в детстве, ко-

гда скатывался с дощатой «американской» горки. Танк того гляди сорвётся в пропасть. Но мы проезжаем.

Впереди – пустынный двор какого-то склада лесопильной продукции. Чтобы спуститься туда с нашей горы, опять-таки надо сделать скат – настил. Благо досок по близости хватает. Ах, как благоухают эти умирающие доски!

Вот спустимся, развернёмся, поломаем вокруг все возможные заборы, и помчимся прямо на врага, – как под Прохоровкой! А второй-то танк от нас приотстал. Как бы не перевернулся. Вдвоём – всё же веселее и больше надежды победить. Отдаю приказ *своим*, чтобы поднялись обратно на гору и постелили нашему напарнику дорогу.

С кем мы воюем и за что? – неважно. Вероятно, с капиталистами. Они же последнее время нам больше всего досаждали. Где-то далеко, но не очень далеко, надрывно гудят заводы, дымят трубы. Там ещё работают. Вероятно, эти капиталисты там и спрятались. Засели, понимаешь. Разворачивайтесь в марше! Огонь! От воодушевления у меня чуть было не случается апоплексический удар. Лысина вся вспотела – как после ложки хорошего перца!

Ура! Ур-ра! Урррра! Танки идут на штурм. Я – на башне. Мои люди со мной. Доски хрустят, трескаются, ломаются, разлетаются вокруг фонтанами щепок. И не только доски. Но пасаран!

Новосибирск (Перекрёсток)

«...призраки убеждают спящего в том, в чём бодрствующего не могут живые...»

Блаженный Августин

Новосибирск не оправдал моих надежд. Всё в нём было как-то сумрачно и непригоже. Из знакомых нашёлся только один якобы костоправ. Который всего больше хотел прописаться в Москву или на худой конец – в Англию. Какой же он патриот! Я, к тому же, очень сомневался в его целительских способностях. Уж очень всё это отдавало дилетантизмом, если не сказать шарлатанством.

Я возобновил поиски пресловутого кинотеатра с названием на «Б». Смутное предчувствие подсказывало мне, что отыскав эту точку на карте, я смогу нечто, хотя бы *нечто*, для себя решить.

Однажды мои поиски увенчались успехом. На станции метро, на скамейке сидел тот самый «чудо-доктор» и читал газету. В газете этой был список увеселительных заведений с указанием репертуара на неделю. Тут-то я и обнаружил своё «Б» и сразу выяснил, как до него добраться – благо, что рядом со мной был старожил. Он, впрочем, сам довольно слабо ориентировался в Новосибирске.

Со времён войны город сильно разросся и так шагнул за Обь, что одна его нога не видела другую. Помощник мой указал мне на север. И вот, наконец, я добрался до вожделенно-

го кинотеатра.

Только это оказался не кинотеатр, а кафе, и называлось оно почему-то вовсе не на «Б», а «24 камушка».

Впрочем, я сразу понял, что это как раз то, что мне надо. Кафе располагалось уже не в Новосибирске, а в пригороде, в далёком пригороде, в лесу (впрочем, может быть, это был лесопарк внутри города).

В детстве мне снилось точно такое же кафе, и тогда я никак не мог понять, почему оно носит такое странное название. Теперь же мне всё сразу стало ясно. «24 камушка» – это, потому что 24 часа – т.е. кафе работает круглосуточно; к тому же, камушки ассоциируются с часами. Механические часы ведь работают на камнях.

Внешне заведение представляло собой довольно приземистое, одиноко стоящее, строение из жёлтого кирпича. Под карнизом плоской крыши, над витринами, в качестве оригинального украшения имелся неровный пояс из здоровенных бесформенных кусков разноцветного стекла, кое-как вмурованных в бетонную основу. Я ради интереса сосчитал "камни" на фасаде, их и правда было ровно 24. На всякий случай, обошёл здание по периметру, убедился, что ни на торцах, ни на тыльной стороне больше нет никаких "барельефов", и помочился на заднем дворе, напоминающем небольшую свалку.

И вот после этого я зашёл в кафе, чтобы передохнуть от всех, натёрших мои пятки, дорог.

Когда я вышел, во рту моём царил привкус дрянного кофе с не менее дрянным молоком. Из дверей кафе разило в н-ный раз разогреваемым несвежим дерьмом, скорее всего рассольником. Но песчаные дорожки, крестами разбегающиеся среди юных стволов елей, пахли свежим дождём. А квадратные еловые участки между ними благоухали лисичками. Я пригляделся и, несмотря на сумерки, обнаружил несколько небольших оранжевых грибов в каких-нибудь пяти метрах дороги. А дорога моя вела прямо, прямо и в гору. Она как бы прокалывала не оправдавшее моих ожиданий кафе и заново начиналась от глухого забора той самой помойки, где я оставил метку.

Довольно скоро я дошёл до вершины пологого куполообразного холма, сплошь усаженного несколько кривящимся молодым лесом. Обширная выпуклость была крест накрест рассечена двумя, обильно усыпанными бурой хвоей, аллеями.

Шестым чувством я понял, что именно здесь, на перекрёстке, должен дожидаться дальнейших указаний от доверенного лица. Или это был какой-то сказочный проводник – вроде бабы Яги или старичка Лесовичка? Слегка моросило и продолжало темнеть, но наверху всё же было светлее, чем внизу. Вдруг из безветрия и шелеста опадающих капель за моей спиной родилось лёгкое и, пожалуй, тёплое, дуновение. Оно потрогало меня за воротник и пошевелило волосы у меня на затылке. Затем Кто-то подошёл ко мне и указал

дорогу. И я пошёл от центра по диагонали, по извилистой тропинке. Не помню в какую сторону, но снова в город.

Москва

«В Москве весь мир уже готовился признать моё превосходство...»

Наполеон Бонапарт

Это была Москва. За время войны немцы успели построить новое метро. Всё-таки ведь – пять лет.

Обычно им не пользовались, но на участке красной линии «Красносельская» – «Сокольники» засорился туннель. Его давно не чистили, и он просто-напросто забился ржавчиной. Рельсы ведь, как известно, – из железа. И не только рельсы.

Поэтому пришлось ехать в объезд. Тут-то и пригодилось немецкое метро. Оно, кстати, было ничуть не хуже нашего.

Только, чтобы попасть на немецкую линию... Она, кстати, выдвигалась на северо-восток города дальше нашей и доходила чуть ли не до Балашихи. А некоторые говорили, что и до Щёлкова. Немецкая линия пересекала Москву не окружностью с радиусами, а зетообразно.

Ну, так вот – чтобы попасть туда, нужно было сперва проехать по секретной русской линии, которая тоже раньше не использовалась, – по так называемому банану. Вот сколько секретов пришлось открывать населению из-за какого-то банального засора! Но, как говорится, всё тайное рано или

поздно становится явным.

В Ленинском цикле мне понравилось. Только поезд ехал очень медленно – чтобы пассажиры успели осмотреть экспонаты в витринах. Станции там все (насчитал три или четыре) были устроены на манер музеев, стены сплошь стеклянные – а за ними природа, мебель, утварь и всякие документы, повествующие о жизни вождей. Ну и сами вожди – в виде восковых фигур. Конечно, особенно впечатляли разные пейзажные зарисовки, вроде Ленина в «Разливе» и пр.

Впрочем, пока мы дотащились до поворота на немецкую линию, мне всё это уже успело порядком надоест. Спрашивается, за что' мы воевали?

На станции, где я вышел, преобладали сельские дома. На улице, как гнилые зубы, торчали колонки. Говорили, что колонки, как и питающий их артезианский колодец, тоже остались ещё от немцев.

Здесь я снимал квартиру. Вернее веранду. Едва утеплённую, очень дёшево. Но жить можно. Даже зимой.

Я сел за стол. И углубился в свои размышления. Я решил написать книгу. О своей жизни. Я приготовился поднести ручку к первому листу раскрытой тетради...

Книга

«...никакая книга не может объять все разнообразные события жизни!»

Н.С.Лесков

Когда-нибудь и в самом деле произойдут события, которые будут достойны описания. Но пока я могу написать лишь о нескольких своих опытах, которые, впрочем, могут оказаться неожиданно поучительными для усердного читателя.

Так, однажды, в далёком прошлом... Вероятно, это было ещё тогда, когда я собирался стать международным агентом. Так вот, мне, разумеется, нужно было учиться. И мне дали книгу. И я ходил с этой книгой, буквально не выпуская её из рук.

Дело в том, что книга была очень ценная. И редкая. Из соображений секретности подобные книги не выпускаются большим тиражом. В специальной засекреченной библиотеке имеется только несколько экземпляров, которые выдаются студентам лишь на время их интенсивного обучения конкретному предмету. Обычно на усвоение курса даётся не более полутора месяцев. Не уложившихся в этот срок безжалостно исключают. И поделом. Такие, не умеющие должным образом сосредоточиться, индивидуумы, уже тут сразу же выявляют свою профнепригодность. А что бы они делали в тылу врага, вдали от Родины?

Чтобы получить *такую книгу*, даже будучи студентом соответствующего факультета, надо ещё постараться. На одну предварительную проверку и идентификацию личности уходят те же полтора, а то и два месяца. Так что, те, которые хотят успешно закончить курс, должны позаботиться об обес-

печении себя литературой заранее. Воистину, такие подготовительные процедуры чем-то напоминают оформление международного паспорта и визы перед выездом за границу.

Мало того, что ты даёшь подписку о невыезде и о неразглашении, в виду особой ценности и важности *книги* необходимо обеспечить её надёжную охрану. У государства нет средств, чтобы приставлять к каждому курсанту (который, кстати, может ещё и не оправдать надежд) по квалифицированному охраннику. Поэтому, как из соображений экономии и демократии, так и способствуя дальнейшему профессиональному росту обучаемого, ему доверяют самому быть своим охранником, т.е. охранником *книги*, читателем которой на обусловленный срок он является.

Таким образом, для того, чтобы получить книгу, необходимо одновременно получить разрешение на ношение оружия. Оружием же необходимо уметь пользоваться. Это, однако, не проблема, т.к. к курсу овладения книгой не может быть допущен человек, не прошедший всех предварительных курсов, один из которых включает обучение стрельбе из всех наиболее распространённых в нашей стране видов оружия.

Самым надёжным видом оружия, употребляемым в нашей стране, является автомат из семейства Калашниковых, один из далёких потомков великого послевоенного патриарха, впрочем, при всех своих неоспоримых достоинствах, отличающийся недостаточной кучностью стрельбы.

Но я приготовился поражать врага на коротком расстоянии – так что для моих целей вышеуказанного автомата было вполне достаточно.

Итак, обучение моё проводилось в таком темпе, что я не мог терять буквально ни минуты. В специальном набрюшнике, напоминающем приспособление для ношения грудных детей, помещалась моя книга. Я закрепил её кронштейнами в раскрытом состоянии с таким расчётом, чтобы даже на ходу (т.е. передвигаясь по улицам) иметь возможность хотя бы время от времени обращать свой взор на страницы и выхватывать то или иное слово или фразу.

Конечно, случайному прохожему мой вид мог бы показаться нелепым. На животе – откляченная книга, за спиной – автомат, лоб – сосредоточенно наморщен. От этой наморщенности и наклона головы очки то и дело сползали на кончик носа, чему способствовал и обильный трудовой пот. Но я был слишком собран и целеустремлён, чтобы обращать внимание на чьи бы то ни было провоцирующие взгляды. К тому же, мой автомат готов был отрезвить любого слишком зарвавшегося созерцателя.

К сожалению, улицы в том районе, где мне волею судеб приходилось прогуливаться тем вечером, были недостаточно освещены. Это вызывало добавочное напряжение в моих глазах.

Мимо, справа от меня, чуть не наступив мне на ногу, нарочито грубо разбрызгивая дрызги из луж, промаршировал

здоровенный полицейский. *Наша* контора не то чтобы очень долюбливает *их* контору. Даже мелькнула мысль: а не выстрелить ли этому г-ну в его широкую жирную спину. Но, покосившись на этого парадоксального нарушителя спокойствия лишь слегка, я тут же забыл о его существовании. То, что я изучал, было так важно, что ничто уже не имело значения, ничто другое.

«Бразилия», – сказал я и прикусил язык. Это уже было почти разглашение. Полисмен обернулся ко мне. Его сальная, иссиня-выбритая физиономия тускло мерцала в сгущающихся сумерках.

«Бразилия? – переспросил легавый, оглянувшись. – Ни хера себе! Он ещё и оружие нацепил!"

Мне бы следовало объясниться с ним, или, на худой конец, сорвать автомат с плеча и ценой восстановления справедливости испортить себе карьеру. Но его наглость так поразила меня, так сбила с мысли, что я будто проснулся.

«Бразилия», – повторил я беззвучными губами. А почему Бразилия? Я забыл. Полицейонер, помотав с отвращением головой, проследовал дальше. А какое ещё отношение мог вызвать у этой гориллы вооруженный автомат очкарик? А я... Я замер, оступился и чуть не упал, неудачно шагнув с бортового камня на мостовую. Слава Богу, на этой улице практически не было машин. До ближайшего фонаря метров 50. Ни души.

От чего-то в голове у меня опустело и как-то посерело

– как будто от асфальта и сумерек. Жёлтый свет далёкого фонаря воспринимался как жидкость, способная хоть слегка размочить застилающую моё сознание пыль...

Япония (Красная гейша)

«Вы называете любовью лихорадку, помешательство, вид химического невроза...»

Ошо

Эти странные беспорядки с моим сознанием повторялись ещё неоднократно уже в процессе моей работы международным агентом. Сперва меня отправили в Японию. К сожалению, я не умел говорить на японском языке. Но нет худа без добра. Во всяком случае, я при всех обстоятельствах не мог сболтнуть лишнего. Японские агенты по этим параметрам были ничуть не лучше наших, т.е. тоже не знали русского языка – возможно из тех же соображений – чтобы не проболтались.

Так что общение было затруднено. Я почти не выходил из гостиницы, а когда выходил, спотыкался о каких-то очень прилично одетых, но в дребадан пьяных, валяющихся поперёк всех порогов, людей. Так японцы отдыхали от своих трудовых будней. Они ни в чём не знали меры – ни в труде, ни в отдыхе. Одно слово – самураи!

Собственно, я очень долго не мог понять, в чём состоят

здесь мои обязанности. Ясно было одно – надо на всё внимательно смотреть и всё запоминать. Записывать, разумеется, категорически запрещалось. А вот память моя, даже по системе образов, не говоря уже о языке, так отличалась от японской, что никакие *их* суперсовершенные системы и приспособления не смогли бы вытащить из неё её хоть что-нибудь для них удобоваримое. Ещё в двадцатом веке было известно, что мы, в отличие от японцев, пользуемся для повседневной жизни совсем другими полушариями.

Проживание в Японии показалось мне удивительно скучным. Все эти непонятки наводили на меня неутолимую тоску – не в пример Фрейду, который тащился от наших буковок, когда катался на паровозе где-то в окрестностях Ленинграда.

Я сижу и пью непонятное японское пиво. Пытаюсь медитировать – ибо, может быть, дзен-будистский стиль приведения себя в состояние готовности будет наиболее успешным и эффективным на этой территории. Использовать оружие врага – вот одна из не перечёркнутых грифом секретности, очевидных до банальности истин, которым нас учили, прямо-таки вколачивали в голову сызмальства.

О как мне скушно! Телевизор показывает каких-то уродов. К тому же, эти уроды говорят не по-русски, и даже не по-английски. Я никого здесь не знаю. Агент двенадцатые сутки не выходит на связь, и я уже перестал надеяться. Помню, смотрел какой-то фильм с подобной ситуацией – от этого ещё скучнее. Там ещё было что-то про публичный дом. Не

податься ли мне здесь в подобное заведение? Но ведь этим я рискую вскрыть все карты. Что же, сыграю ва-банк! Опять это напоминает какой-то фильм...

Неожиданно приходящее решение всегда бывают самым правильным. Так нас учили. Естественно, я не мог заказать себе девушку по вызову со своего номера. На мой телефон сразу бы вышли. Как оплачивать сотовый в Японии, я так и не разобрался, по этому поводу почему-то не было даже никаких инструкций. Так что я пошёл прогуляться по бесконечно утомительным токийским улицам, где только и делали, что мелькали автомашины из «Соляриса» Тарковского.

Вскоре, в одной из телефонных будок, я почти наугад выбрал телефон рекламирующейся там проститутки. Конечно, не совсем наугад. Листочков с раскосыми красотками в разных телефонных будках было расклеено предостаточно, хоть их то и дело и срывала специальная служба по борьбе с мусором и за хорошие нравы. Эта особа – скажем так – понравилась мне на картинке несколько более остальных.

Я волновался. Я не мог припомнить, чтобы вообще когда-либо в жизни связывался с проститутками. Хотя – мало ли чего я не мог припомнить? Память моя мне не принадлежала. Кто и когда обрабатывал её, мою память? Знаете ли вы об этом?

Так вот. Затаив дыхание, напряжённым, чуть ли ни окаменевшим, пальцем я набрал номер, какой-то очень длинный... Каково же было моё удивление, когда с того конца без

всякой задержки ответили на чистейшем русском языке?

– Красная гейша слушает. У меня и так был комок в горле, но – тут я поперхнулся и закашлялся. Одновременно, как молния пронеслась мысль: «Раскрыт!» «Отвечать?» – мелькнула вторая мысль. Очень хотелось повесить трубку и бежать. Но, возможно, враги только того и ждали.

– Красная гейша предоставляет услуги всем желающим независимо от национальности, цвета кожи, вероисповедания, пола, возраста, формы носа...

Я с облегчением выдохнул: это был автоответчик. Вероятно, вражеская техника дошла до такого совершенства, что уже в будке была скрытая камера и микрофоны. Наверняка! Я чуть ни в панике начал оглядываться по сторонам.

– Я вас слушаю, – прорвался сквозь бормотание автоответчика опять-таки русский голос. – Вы будете делать заказ или нет?

Я всё ещё молчал. Может быть, вот он и наступил, пресловутый момент истины?

– Эй, – потеревил меня женский голос, впрочем, довольно приятный.

– На кого вы работаете? – обречённо поинтересовался я. Тут она произнесла что-то невразумительное по-японски. – Понятно, – сказал я. – А почему вы называетесь красной гейшей? Это имеет какое-нибудь отношение к политике?

– Нет, это имеет отношение к сексу, – остроумно парировала моя собеседница.

– Так. А вы могли бы меня просветить? Я, знаете ли, тёмный иностранный а... – (тут я чуть было не проговорился и даже подумал, что сверхчувствительные японские датчики наверное уловили моё недосказанное слово).

– Мы всё знаем, – как обухом по голове стукнула меня моя собеседница.

– То есть?

– Знаем таких как вы.

– А вы, извините, японка?

Она помолчала, довольно долго, будто с кем-то советовалась. «Здесь нечисто», – подумал я.

– Это конфиденциальная информация, – ответила она.

– Так почему же всё-таки красная? – вернулся я к более безопасной теме.

– Вы никогда не слышали о стиле... (тут она снова выпалила какую-то чисто японскую, на русский слух ругательную, скороговорку).

– Увы, – ответил я, – хотя звучит заманчиво!

Девушка на том конце провода опять замолчала. И молчала на этот раз долго. Я уже хотел повесить трубку.

– Так вы будете заказывать гейшу или нет? – спросила она. Вопрос прозвучал неожиданно грубо, совсем не в японском духе. Впрочем, что я знаю о японцах?

– А сколько это стоит? – спросил я, чтобы уйти от прямого ответа.

– В зависимости от того, что вы закажете, – ответила

девушка тоном уж совсем какой-нибудь хамоватой русской почтовой работницы. Её голос окончательно мне перестал нравиться. Я разозлился.

– Пожалуйста объясните мне всё, что связано именно с красной окраской вашей уважаемой гейши и тогда я, может быть, воспользуюсь вашими услугами.

Иногда на хамство полезно отвечать приторной вежливостью.

Девушка хмыкнула и неожиданно опять включила автоответчик. Он начал откуда-то с полужафрызы:

– ... древней японской традиции, используя современную передовую фармакологическую технологию, был разработан новый более эффективный препарат, небольшого количества которого...

"Господи! – подумал я, – наверно речь идёт о каком-то наркотике. Вот тебе и гейша! Ну, так оно и должно быть – все пороки всегда тяготеют один к другому".

Автоответчик не унимался:

– ... обученные сотрудницы нашего центра принимают препарат непосредственно перед встречей с клиентом. Препарат приходит в действие от тактильного раздражения не только эрогенных зон, но всей кожи и слизистых девушки, а также от адресованных ей ласковых и нежных слов, а всего более – от обещаний дополнительной оплаты за удовольствие.

«Бизнес – превыше всего!» – буркнул я про себя.

– Уже в первые минуты клиент может заметить постепенное изменение окраски кожи работницы...

«Как они всё-таки неуклюже составляют свои комментарии – констатировал я в сердце своём. Какие-то работницы. Ну, ясно – речь идёт о каком-то стимуляторе.

– ... желательно наличие вблизи от принявшей препарат гейши какого-нибудь резервуара с водой. Это удваивает действие и облегчает все последующие операции для девушки и клиента...».

"Операции, резервуары – ужас какой-то" – исходил я сарказмом в уме.

– «...Наибольшей интенсивности окраска достигает в момент оргазма. Бывают случаи, когда клиент сам краснеет в объятиях гейши, как бы пропитавшись от неё этим необъяснимым внутренним жаром...»

– Спасибо, объяснили... – хмыкнул я вслух и спрятал голову в плечи.

Автоответчик закашлялся, но продолжал:

– Покраснение кожи объясняется общим возбуждением и повышением температуры кожи девушки. Для её здоровья и тем более здоровья клиента это не опасно. Красный цвет способствует скорейшей разрядке скрытых комплексов мужского организма, накопившихся в результате воздержания или неудовлетворительного секса в течение предшествовавшего времени.

«Целая лекция», – резко констатировал я про себя.

Автоответчик замолчал. Больше на том конце никто не подавал голоса. Но и не вешали трубку. Только какое-то потрескивание – словно из бездонной космической пропасти.

Я подумал и, ничего не сказав, повесил трубку. Вдруг в будке раздался телефонный звонок. Я-то и забыл, что за границей в телефонах автоматах возможна обратная связь. Я, было, схватился за трубку, но всё же, не снял её с рычага.

Достаточно. Даже слишком достаточно на сегодня. Началось делу положено. Но мне нужна дополнительная информация. Кажется, я что-то придумал, кажется...

И тут я понял, что очень хочу есть. Меня прямо-таки мутило от голода. А может от этой красной гейши, когда я её себе представлял, валяющуюся навзничь с закрытыми глазами возле воняющего хлоркой бассейна? Да, в этом есть нечто сексуальное. До тошноты.

Покопавшись в закромах профессиональной памяти, я открыл одну шуточную стихотворную максиму, которой снабдил меня мой непосредственный начальник перед тем, как выпало мне отправиться в дальнюю дорогу.

– Если очень хочешь кушать, съешь какое-нибудь суши, – говаривал он.

И – ах! – как мне сейчас пригодилась его простецкая среднерусская мудрость. Я – таки взял и съел какое-то суши. Убей, не помню, из чего оно было сделано. Но попало мне в нём что-то неумеренно пряное, какой-то японский перец или что-то в этом роде. Что-то такое, от чего у меня темпе-

ратура поднялась, и голова вспотела, и покраснел я лицом не хуже самой сексуальной гейши на свете.

Тут у меня произошло что-то вроде оргазма или озарения. И опять показалось, что я проснулся.

Фанаты

«В индивидуальных случаях мы имеем дело с невротическими симптомами, у людей же, не склонных к неврозам, возникают коллективные мании...»

К.Г.Юнг

Несмотря на мой успех в Японии, карьера моя скоро и бесповоротно закончилась. В Москве сменилось руководство, наш отдел сократили, и личность моя перестала быть для кого-либо интересной.

Пришлось устраиваться охранником – благо, оставались ещё кое-какие связи. Работа была связана с обеспечением безопасности спортивных мероприятий. Фирма была частная, но тесно связанная и подотчетная государству. Мне, как новичку, достался наиболее грязный участок фронта.

Дело в том, что за последний десяток лет у болельщиков одной из московских команд, название которой не могу здесь указывать (т.к. это была бы реклама), сложилась весьма оригинальная и опасная новая традиция.

После очередной игры с участием любимой команды наи-

более ярые фанаты стали собираться вблизи одного московского общественного водоёма. Водоём этот ранее был мало кому известен, вряд ли даже обозначен на картах. Однако, с некоторых пор, он стал привлекать внимание телевидения, прессы и нездоровых зевак.

Вне зависимости от того, выиграла или проиграла любимая команда, болельщики устраивали в её честь массовое омовение. Вернее, это можно было бы назвать погружением в одежду. Трудно сказать, кому первому пришлось в голову окунуться, не раздеваясь, в грязную и мутную воду этого небольшого и, вероятно, уже тогда дурно пахнущего пруда. Непонятно даже от радости или горя это произошло, понятно только – что, скорее всего, спьяну. Именно в такой системе координат и родилась эта традиция. Ясное ведь дело, что кумира надо поддержать и на пике успеха, и на дне поражения, а уж выпить – как же без этого?

Так вот, все эти похоже одетые и постриженные мальчики, впрочем, и с некоторым количеством девочек, что ни матч под вечер всеми правдами-неправдами стекались со всех углов Москвы и Московской области к вожделенному водоёму.

Одурманенному культурой оку тут, конечно же, виделась аналогия и с языческим купанием в Иванову ночь (летом), и с Крещением в Иордане (зимой). Но всего более мне лично это почему-то напоминало насильственное приведение в христианскую веру киевлян. Так мне это представлялось.

Хотя этих мальчиков погружаться в отбросы никто не заставлял, никаких мечей никакого князя, да и Днепр во времена оны был наверное на теперешний вкус чист как слеза. И всё же...

Слишком их было много, целая армия, слишком они теснились – как будто кто-то их гнал, наступал им на пятки. И не радовались они, и не целовались как в купальскую ночь, и не получали очищение, как в крестильной купели, а напротив, мучились и сердились, часто толкались, били друг друга локтями, кулаками и вообще дрались всеми различными способами, какие только позволяли обстоятельства. «Видь на Волгу. Чей стон раздаётся...» – вот ещё что это напоминало. Шум стоял соответствующий.

Давно ходили разные разговоры, что пора положить этому конец. Некоторые горячие головы в Думе предлагали огородить объект колючей проволокой, что отчасти и было сделано, но произвело лишь возбуждающий страсти эффект. Тогда кто-то предложил пустить по проволоке ток и заминировать всё кругом метров на пятьдесят. Но это уже в нашем демократическом государстве нельзя было воспринимать всерьёз.

Несмотря на то, что водоём был мелкий, в самом глубоком месте – едва ли два метра, люди в нём тонули. Особенно много тонуло, если любимая команда выигрывала. Вероятно, успех лишал болельщиков бдительности.

Сам обряд тоже представлял не малую опасность для здо-

ровья, т.к. желающий быть посвящённым в настоящие фанаты должен был не только быть готовым погрузиться в тёмные воды с головой, но и по возможности набрать этих нечистот в рот, а желательно и проглотить их. Наибольшего же уважения был достоин фанат, свободно пьющий воду из этой лужи. Многие специально копили жажду и отказывали себе даже в пиве, чтобы потом напоказ лихо лакать эту вовсе не приспособленную для питья гадость.

Естественно, после таких злоупотреблений в среде болельщиков стали распространяться заразные болезни, как то: гепатит, дизентерия, брюшной тиф. Была отмечена даже холера. Прилетел и свил себе гнёздышко на берегу также злобный малярийный комар. Я уж не говорю о венерических недугах. Резко повысилась заболеваемость СПИДом, так как многие из погружавшихся являлись по совместительству наркоманами. Как говорится, только тропической лихорадки здесь не хватало.

Естественно, молодые люди нашли способ избегать самых дурных и печальных последствий. Наиболее хитрые из них специально перед обрядом употребляли дезинфицирующие напитки вроде спирта в купе с самыми современными антибиотиками. Пили они всё это и, так сказать, на закуску, чтобы тем вернее продемонстрировать публике свою крутость. Мол, из лужи пил, спиртягой закусывал и колёсами закатывал. Ну а потом, наверное, ещё и полировали чем-нибудь. Эти приспособленцы оказывались наиболее живучими, по-

тому и были заводилами и формировали новые узкие течения в уже утвердившейся моде на омовение.

Чтобы не допустить распространения заразы, власти стали подсыпать в пруд всякие средства, причём самые дорогие из них, разумеется, разворовывались. Поэтому преобладала хлорка. Но кроме хлорки сыпали разные инсектициды – от малярийных комаров, особенно усердствовали в этом заинтересованные в спокойном сне жители окрестных домов.

После такой обработки фанаты болеть стали несколько реже, но зато стали чаще травиться. Случалось, умирали прямо здесь же, не выходя из лужи, и товарищи затем несли их до дома на своих плечах, причём на этот случай они уже успели придумать особые зауспокойные кричалки.

Вообще, водоём, возле которого мне довелось служить, кипел как питательный бульон, переполненный амёбами и инфузориями. Но это наблюдалось лишь по великим фанатским праздникам.

В обычные же дни тут было тихо – с некоторых пор даже автовладельцы брезговали мыть здесь свои машины. Разве что выходцы с Кавказа по невежеству и настырности пытались проникнуть сюда. Однажды у меня даже произошла с ними перестрелка, и меня ранили в палец.

Я сколотил себе будочку на берегу пруда, и её многие принимали за туалет, так что требовалась дополнительная бдительность. Там я и ночевал, не выпуская оружия из рук.

Когда же случались молодёжные нашествия, мне, разуме-

ется, отряжали подмогу. Нам запрещалось вмешиваться в процесс до тех пор, пока в воде не оказывалось одного или нескольких утопленников.

Тут мы принимались свистеть в свистки, стреляли в воздух из ракетниц и трассирующими пулями, разматывали сверхпрочные сети и начинали лов. Мёртвых, после того, как подоспевший врач констатировал смерть, мы запаковывали в спецмешки. А живых, после того как являлся полк милиции, сдавали под арест. Обычно двое-трое из этих архаровцев получали сроки, впрочем, чаще всего условные. Ибо не проходило и полугода, как я снова видел в пруду некоторые из этих наиболее выдающихся физиономий.

Работа у меня была, как сами понимаете, вредная, и платили мало. Но я не жаловался. Не то, чтобы нельзя было подыскать что-нибудь получше. Но тут я был с народом, так сказать, в самой гуще событий.

И как там они давились бедненькие, в этой клоаке. Я всегда удивлялся, что из неё вылезают живыми. А ведь живые явно преобладали. Воистину непостижимо! Сколь живуч человек!

Если у пришедшей толпы объявлялся какой-нибудь мало-мальски авторитетный лидер, обряд приобретал хотя бы относительно приличные очертания. Первыми шли старики, т.е. мужчины лет восемнадцати от роду. Они входили в воду со всех сторон и встречались ближе к центру пруда, где образовывали хоровод, поймав друг друга под водой за руки. К

этому времени наиболее высокие из них были погружены в воду по грудь, а наиболее короткие уже еле-еле ловили ртами воздух, судорожно вскинув над гладью воды подбородки. Затем все разом они издавали какой-то дикарский возглас и приседали с таким расчётом, чтобы под водой оказалась отключенная нижняя челюсть.

Глаза закрывать было нельзя. В таком положении они застывали, пока первый из них не мигнёт. Затем опять вставали и произносили по очереди некий отрывистый речитатив, восхваляющий любимую команду и предающий анафеме команды отнюдь не любимые. Затем следовало второе погружение, уже с головой. Тут души менее сильные и любвеобильные, а зачастую просто более короткие, могли отступить. Но самые крутые и стойкие, побулькав из-под воды вдосталь и продержавшись там столько, сколько кому позволяло здоровье, наконец победно всплывали, чтобы опять отрывисто и теперь уже по большей части хором провозгласить нечто во славу родной команды, причём их поддерживали все зрители на берегу, кольцо которых при этом всё больше сужалось. Вскоре передние из удерживающейся на берегу толпы уже погружали свои ноги в ил, и, слабо заполненная до поры, доступная взору водяная гладь начинала всё более ускоренно сужаться. Кричалки и вопилки переходили во всёобщий неясный гвалт и гомон. Мёртвая вода лужи, теснимая столькими телами, поднималась, пожалуй, на добрые полметра. В это время некоторые яростно пили на по-

каз тухлую, перемешанную с илом и бензопродуктами, жижу. В конце концов, начиналась вакханалия. Кто-то нырял, кто-то невольно уходил под воду с головой. Девчонки визжали, мальчишки орали во всё горло матерные поношения. Всё чаще слышались шлепки взаимных оплеух. И... наконец раздавался первый предсмертный вопль. Впрочем, это случилось далеко не всегда, разве что кто-нибудь кого-нибудь в сердцах ткнёт ножичком или огреет дубинкой по голове. В основном, гибли молча, просто уходили на дно, в ил.

Тут подоспевали мы со всеми нашими репрессивными и спасательными средствами и вылавливали разбаловавшихся идиотов из коричневой хляби. Они, разумеется, сопротивлялись, дрались, плевались, а уж ругались – хоть святых выноси. Случалось получить в глаз от только что откаченного на берегу утопленничка. Но, несмотря на полное отсутствие благодарности со стороны этих неразумных, недобрых детей, мы делали своё дело честно и были горды тем, что спасаем юные жизни.

Несмотря на постоянные обследования и прививки, которые мы чуть ли ни ежемесячно проходили в ведомственной поликлинике, я всё же тяжело заболел.

Мне довольно долго не могли поставить диагноз. Скорее всего, дало себя знать непрерывное нервное напряжение последних лет. Но не исключена, конечно, была и какая-нибудь инфекция или интоксикация. Словом, организм мой терпел поражение по всем фронтам.

Я лежал под капельницей и умирал. Никто меня не навещал, никого у меня не было. Медсёстры воровали у меня лекарства и подливали мне в капельницу дистиллированную воду, хорошо ещё – не воду из-под крана.

Я вспоминал свои былые дела...

Учитель

«Среди святых воспоминаний

Я с детских лет здесь возростал...»

А.С.Пушкин

Особенно приятно было вспомнить, как я когда-то был учителем. Тогда тоже приходилось иметь дело с детьми, но все они были такие чистенькие и незапятнанные – как на подбор.

Я только, что устроился в школу, а учебный год уже кончался, и в школе назревала всеобщая предвыпускная уборка. Это тоже была традиция, вероятно, свойственная не только этой школе. Но насчёт других я просто не имею информации.

Я уже успел перезнакомиться и подружиться со всеми своими учениками, однако, испытывал некоторые опасения касательно того, не слишком ли фамильярно они ведут себя по отношению ко мне. Мой учительский статус обязывал. В классе я был отделён от них учительским столом, как ал-

тарём. Они же сидели за партами, как католическая паства. Это уже внушало мне некоторую уверенность. А уж указка в руке и вовсе успокаивала меня, как магический жезл.

Я помавал головой и указывал очередному вызываемому на доску. Он вынужден был встать из-за парты, подойти к доске и писать на ней слова, любые, какие я скажу. Иногда я испытывал непреодолимое извращённое желание продиктовать очередному ученику что-нибудь из обсценной лексики. Это характеризовало меня как ещё не устоявшегося профессионала. Однако это говорило и за то, что огонь открытий ещё не угас в моей груди, и я не стал ещё бездушным, ничего нового подопечным своим не предлагающим, функционером.

Мне, разумеется, нравилось некоторые, вполне достигшие половой зрелости, старшеклассницы, особенно когда они надевали достаточно короткие юбки. Я даже досадовал, что текущая мода не слишком располагала к такому обнажению. Но я не позволял себе слишком много думать о подобном и безжалостно затапывал ростки педофилии, как только они появлялись на пороге моего головного мозга.

Мальчишками я совсем не интересовался, разве что как друзьями. Но и в дружбе – при таком неравенстве по возрасту – некоторые чересчур бдительные наблюдатели могли усмотреть некоторую противоестественность. Поэтому я сдерживал себя от проявления чувств.

Несмотря на эту вынужденную зажатость, я радовался

жизни, ежедневно вдыхая освежающий аромат детства и юности. Никто бы не запретил мне делать мои маленькие наблюдения. Всегда было интересно догадываться и констатировать про себя факты влюблённости, имеющие место в моём подростковом классе. Я радовался и сострадал всем моим ученикам. Я испытывал смущение и гордость вместе с девочками, когда у них начинались первые месячные. Я горячо соперничал мальчишкам, которые в большинстве своём ещё в течение продолжительного времени будут лишены возможности получить необходимую сексуальную разрядку, за исключением самоудовлетворения, которое как я замечал, заметно изнуряло некоторых моих учеников.

Впрочем, мог ли я осуждать их за это? Дети мои программу осваивали хорошо, писали грамотно. Что же касается литературных талантов, пока я не мог бы кого-либо из них определённо выделить. Хотя один мальчишка подавал кое-какие надежды. Но я работал здесь ещё так недолго.

В то утро началась уборка. В честь неё были отменены все занятия. Мой класс во главе со мной проявлял самое живое участие в общем деле. На нашу долю выпал подвал и прилегающие к нему подсобные помещения. Это было несколько несправедливо, т.к. объект оказался особенно запущенным и при этом обширным по площади. Так что большинству других классов достались не в пример гораздо более лёгкие территории.

Но я призвал моих орлят и голу'бок проявить понима-

ние и смирение. Кое-кто из них возроптал, но, вразумлённые мною, демагоги стихли – и это была моя педагогическая победа.

Особенно мне запомнился один холодильник. Мы чистили его добрых четыре часа, хотя потом выяснилось, что он уже сто лет как не работает и никому не нужен, а достоин только того, чтобы оказаться на свалке. И уже обессиленные, ребяташки мои были вынуждены поднимать по ступенькам эту допотопную тяжеленную железяку и тащить её на ближайшую помойку.

Ой, чего только мы не вынули из этого заскорузлого холодильника! И кто, интересно, всё это туда положил? Огурцы, помидоры, какие-то бутерброды, банки с недоеденным хреном и кетчупом, слипшиеся пельмени в морозилке и застывшая кровь... Вы представляете – какой был запах?!

Но мои бедные дети, видя моё усердие, не покладая рук и даже не используя их, чтобы зажимать носы, трудились вместе со мной. Мальчики даже позволяли себе похлопывать меня по плечу, как бы поддерживая и одобряя. Но я ёжилась и ускользал от подобных проявлений фамильярности, т.к. не без основания предполагал в них покушение на свою ещё недоформированную авторитетность.

Но, несмотря ни на какие неудобства, несмотря на явную бесполезность большей части наших тяжёлых работ, по завершении их все мы были довольны. Ибо совместные направленные действия сплотили нас, превратили нас в кол-

лектив! Такова алхимия труда, воспетая классиками марксизма-ленинизма. Стар и млад, умный и дурак, мужчины и женщины, представители всех национальностей и конфессий – легко сплачиваются и сколачиваются, становятся единым целым, можно сказать, одним организмом, когда упорно занимаются каким-нибудь низкоквалифицированным, изматывающим и пусть даже грязным трудом. В этом смысл всех великих строек.

Однако, моё сердце переполнял вовсе не гражданский пафос, моё сердце переполняла любовь. И это была не любовь к пресловутому безликому коллективу, это была любовь к каждому по отдельности и в то же время к нам всем вместе взятым, к нам всем как к одному организму!

Поднятию настроения также способствовала весна. Прохладный, пахнувший набухшими древесными почками ветер. Зайчики солнца на меловых пронумерованных квадратах, украшавших асфальт перед школой.

Того гляди, должны были зацвести тополя...

Интерлюдия

«Что же касается речи, то над нею нужно особенно трудиться в частях, лишённых действия и не замечательных ни по характерам, ни по мыслям...»

Аристотель

Пережив клиническую смерть в реанимации, я вернулся к жизни. Я стал никчёмным инвалидом, несчастным пенсионером. Теперь я не был способен не только на дальние перемещения в пространстве, но и на душевные порывы...

Ну, хватит! Пора проснуться и пойти попить из колонки, потому что у меня дома в ведре кончилась вода. Не беда, что на улице зима – колонка надёжно замотана какими-то толстыми серыми тряпками. Вокруг наледь. Я наклоняюсь издалека и, с трудом продавив рычаг, жадно пью. И от струи и от меня валит пар. Отдышавшись, пью опять. Чистая холодная вода с лёгким привкусом металла. Что-то это мне напоминает.

Семья

«...брак есть предчувствие смерти и начало её...»

Н.Ф.Фёдоров

Это напомнило мне родник, тот, куда мы изредка ходили за водой, когда я проводил лета в моей родной деревне. Вода с шумом вырывалась из старой неровно обрезанной трубы, и белые остроугольные камни в заливчике под ней все были покрыты несмываемым слоем ржавчины. Родник бил откуда-то из-под кладбища, так что некоторые сельчане брезговали пить из него. Но вода была вкусная. Из трубы вода

очень коротким и бурливым ручьём впадала непосредственно в большую реку.

В последний раз, навещая то место, я не обнаружил там никакой трубы и вообще не узнал его. Вместо родника образовался напоминающий горную речку приток, до истока которого я так и не дошёл. Можно было подумать, что он теперь и вправду находился на самом кладбище. Приток был очень извилистый и с силой протискивался среди, бурно заросшей приречной зеленью, пухлой земли. Мне почему-то не захотелось пить из него, да и нечем было зачерпнуть. Камни в русле теперь были по преимуществу белые.

Потом я ещё раз приезжал в те места, но на родник уже не заходил, больше не ожидая отыскать там что-нибудь знакомое и родное сердцу. Не помню даже, почему я оказался там в последний раз. Кажется, меня вызвали телеграммой. Очевидно, я подумал, что на похороны или на свадьбу и, не очень-то сознавая необходимость своих действий, поехал.

Внутри знакомого деревенского дома меня уже дожидалась целая компания. Я не ожидал увидеть так много родственников сразу, к тому же, большинство из них были мне почти не знакомы. Справа, у калитки, консолидировались родственники со стороны моего отца, а слева, у скамейки, со стороны матери. Я хорошо знал только одну тётушку с материнской стороны. К ней-то я и подошёл, с остальными даже не поздоровавшись, хотя некоторые сделали неуверенные попытки пойти мне навстречу.

Тётушка была мягкой, оплывшей женщиной лет 63-ёх, впрочем, не то чтобы слишком жирной, в прошлом наверняка милостивой и приветливой на беседу. Мы сели на скамейку, и она поведала мне кое-какие новости двух последних десятков лет. Кое-что в нашем семейном клане таки изменилось.

За это время толпа, живописно расформированная перед забором, как-то рассосалась. Наверно пошли за стол. Я вообще не хотел есть, меня вообще подмывало отсюда убраться. Кстати, я так даже и не соизволил никого спросить, по какому поводу торжество. Все вели себя как-то подчёркнуто ровно – так, что трудно было догадаться. Никто не плакал и не смеялся. Не было видно пьяных. Никакой музыки.

Тётушка встала, отряхнула платье и, улыбнувшись мне, проследовала за калитку. Она поманила меня оттуда ручкой.

– Там твои, – сказала она.

– Где? – спросил я, хотя не понял, кого точно она имеет в виду.

– Пойдём, покажу, – тетушка с интригующей гримаской на лице мотнула головой. За время нашего разговора она значительно подтянулась и помолодела.

Я поднялся со скамейки и последовал за ней. Она провела меня к заднему дому, тому, что был за первым, выходящим окнами на улицу деревни. Указав рукой на дверь, она сама исчезла в доме переднем, где глухо сидели гости.

Мне, честно говоря, было тревожно. Я открыл захрясшую

дверь и проскрипел шагами по давно готовому развалиться крыльцу. Внутри пахло паклей пополам с плесенью. Сосновые брусья стен давно почернели. С ещё более душераздирающим скрипом раскрылась внутренняя дверь, линолиум в коридоре весь покоробился и вовсе потерял определённый цвет. Но внутри меня ждала жена. Не то, чтобы я совсем не ожидал её увидеть. В конце концов, кого ещё я должен был подразумевать, когда тётушка сказала мне «твой»?

У жены на коленях сидело, вероятно, совсем недавно научившееся сидеть, малое дитя. И жена, и ребёнок были одеты в белое. Во всяком случае, их свежая одежда резко контрастировала с общим тёмным фоном дома.

Я взял ребёнка на руки и стал носить по комнате. Он не плакал и внимательно смотрел на меня. У него слегка пахло изо рта. И я вспомнил, что когда-то хотел, но почему-то так и не попробовал на вкус грудное молоко. Почему?

По нежному выражению личика и замысловатым кружевам на чепчике, я догадался, что это девочка. Так и должно было быть.

Жена сидела молча и улыбалась. Руки у неё были сложены на сомкнутых коленях. Она была очень красивой, вся свети-лась.

Я прижал ребёнка к груди. Почему-то захотелось плакать. Почему-то не хотелось ни о чём думать, хотя возникало даже слишком много вопросов.

Я выглянул в приоткрытое окно. Темнело. С полей тянуло

попынью и сеном. Крикнула какая-то птица.

– И что теперь? – спросил я, обернувшись к жене.

Притча (Два брата)

«Вся земля мала и ничтожна, и мы должны искать средств к жизни в иных мирах...»

Н.Ф.Фёдоров

Теперь я глотал дымящуюся воду из ледяной январской колонки. И мне хотелось пойти к кому-нибудь гости, выпить водки с каким-нибудь хорошим мужиком, на худой конец – чаю. Я промакнул слезу тыльной стороной рукавицы и выпрямился, чтобы отдышаться. Под ногами было очень скользко. Стараясь не упасть, я опёрся на колонку. Задрал голову и, заметив на небе звёзды, некоторое время разглядывал их.

И вот, мне пришла на ум притча. Когда-то я её слышал или где-то прочитал:

Жили-были два брата. Один был романтик и лежебока, другой – прагматик и работяга. Кажется, второй был старше первого, или наоборот.

Первый вообще ничего не делал, только мечтал. И второй так привык, что его брат ничего не делает, что и не ожидал когда-либо увидеть какие-либо плоды его труда.

Зато сам, т.е. этот второй брат, сделал очень много. Я не

помню точно что. Но, во всяком случае, он трудился достаточно много для того, чтобы обзавестись просторным удобным домом и приличной многодетной семьёй. Он был каким-то начальником, возможно, даже министром. Возможно, даже его имя было занесено в какую-нибудь энциклопедию. Он старался не думать ни о чём грустном, и всегда был весел и предприимчив. Растил детей, занимался их здоровьем, давал им образование. Они, возможно, даже учились где-то за границей. Он не воровал, не брал взяток, не изменял жене. Ну, разве что было несколько случаев – ну, с кем не бывает? Но он во всех своих грехах сильно раскаивался – совестливый был человек. И даже ходил в церковь или, не помню, что там было – может, синагога или мечеть. Он не верил в Бога, очень хотел поверить, но не верил. Однако допускал, что Бог существует. Это могло быть вполне вероятным уже потому, что многие, уважаемые им, люди, на его взгляд, были весьма религиозны.

Так вот, этот прагматик и работяга, не зря потрудившийся на своём веку, в какой-то момент почувствовал себя очень несчастным. Просто так, без особой причины. Все его близкие вроде бы были живы и относительно здоровы. И у него самого кроме геморроя и простатита ничего ужасного не развилось, лечили его самые лучшие врачи. Но ни водка, ни новейшие транквилизаторы теперь не помогали. Да и пил он умеренно.

И вот тогда, как бы само собой, всплыло воспоминание

о младшем брате. Он как-то давно потерял его из виду, а сам брат не давал о себе знать. Может, он умер? Старший забеспокоился. Нехорошо ведь так бессердечно относиться к судьбе родственника. К тому же, у него в тот период как раз образовалось немного свободного времени, что за всю его жизнь случилось ой как нечасто. Он принялся искать брата.

Брат, оказывается, жил неподалёку и нашёлся почти сразу. Он очень обрадовался вновь обрётённому кровному родственнику, усадил его за стол, напоил чаем и водкой. Чай был не самый лучший, да и водка слегка пахла бензином. Но старший брат не стал возражать. Ему было хорошо, он – словно согрелся и оттаял. Вот только то и дело обуревали мысли, мол, надо куда-то спешить, хотя спешить вроде бы было и вовсе некуда.

– Ну, как у тебя дела? – спросил, наконец, младший брат.

И старший брат задумался – может быть, впервые за все последние годы. Всё у него было хорошо, лучше некуда. Всё у него сбылось, и даже обещало сбыться ещё что-нибудь. Старший сын вот уже почти превзошёл его на служебной лестнице, да и младший подтягивается. Но что-то внутри, возможно, какое-то главное желание – не было удовлетворено.

Младший брат смотрел на него с любовью и сочувствием, и ждал.

– А у тебя как дела? – спросил старший брат.

У младшего брата всё было так себе. Жив и ладно. С се-

мьёй не заладилось. Лечится от алкоголизма. Карьера не получилась. Живёт один, в какой-то несурзной квартире. И мечтает – надо же! – всё о том же, о чём мечтал в детстве. Чему тут завидовать?

– Да, – сказал старший брат. – А может быть тебя... – тут он опять задумался. Что он собственно мог посоветовать младшему брату? Начинать что-нибудь серьёзное в жизни ему уже было поздно. Разве что помочь ему деньгами, но предложить деньги – обидится. Может быть, врача ему порекомендовать?

– Да, – сказал младший брат. – Я когда-то был почти как ты. А теперь у меня почему-то ни на что не осталось сил. Вот разве...

– Разве что?

И младший брат стал рассказывать о том, как он мечтает построить воздушный шар и взлететь на нём, и посмотреть, как выглядят сверху окрестности.

Старший брат рассказал, что не раз летал и на воздушном шаре, и на вертолёте, и на самолёте, и видел все окрестности вокруг.

Младший брат слушал с восхищением. А старший даже начал в сердце своём гордиться, хотя его и не покидало чувство какой-то тонкой, непонятно откуда взявшейся, горечи.

– Знаешь что, – предложил младший брат. – Пойдём погуляем.

Старшему брату стало неудобно. Он давно отвык гулять

просто так. К тому же, куда можно было пойти ночью в этом тёмном посёлке, где жил его брат?

– Да ты не бойся, здесь рядом. Я хочу показать тебе одну вещь, – сказал младший брат.

Старший нехотя встал. Они вышли из вонючего подъезда на морозный воздух поздней осени.

– Видишь вон ту голубятню, – указал младший брат на какое-то едва видимое за деревьями невнятное строение. – Там теперь нет голубей.

Они подошли ближе.

– Иногда я залезаю наверх, – сказал младший брат. Я думаю, что именно отсюда лучше было бы запустить воздушный шар.

Старший брат смотрел на него, как на сумасшедшего, впрочем, он не хотел бы чем-нибудь расстроить своего несчастного родственника.

– Давай залезем? – попросил младший брат.

Это было уже слишком. Но старший брат всё-таки не выразил несогласия.

– А мы не сломаем себе шею? – спросил он.

– Можем, – честно ответил младший брат. – Тут очень гнилые балки. Но всё же, я надеюсь, мы сможем взобраться.

Он полез, а старший брат пока остался внизу.

– Иди сюда, – позвал младший откуда-то сверху, из темноты.

Старшему ничего не было видно из-за, густо нависавших,

толстых веток деревьев.

Он начал карабкаться, порвал брюки об гвозди, испачкал голову в старой паутине, занозил руку, кряхтел, чертыхался, но всё же добрался до тускло светящегося прямоугольного отверстия в крыше строения. Ещё усилие, и старший брат высунулся по пояс наружу из трухлявого лаза. Под ногами предательски хрустело, поджилки дрожали.

– Ну? – спросил младший брат.

Старший не ответил. Он смотрел вверх. Ему показалось, что где-то рядом поскрипывает стропами корзина воздушного шара. Он увидел звёзды. Вдруг мир как бы перевернулся. Это произошло оттого, что он впервые за долгие годы поднял голову вверх. Шейные позвонки трещали.

– Ну? – позвал младший брат откуда-то, словно издалека.

Но у старшего брата перехватило дыхание, да и не знал он, что ответить.

Почему-то он понял, что вот это, то, что сейчас произошло, и было тем, чего он больше всего хотел. Он просто не знал, что хочет именно этого, или забыл, что хотел. Или постарался забыть.

Если бы сейчас у них был воздушный шар, они бы конечно улетели вместе. Куда глаза глядят. Или куда ветер дует. Но шара не было.

Наверно всё это кончилось довольно скоро. Старший брат вернулся к своим делам и умер в мире и покое. А младший – остался со своим бездельем и умер каким-нибудь необык-

новенно грязным способом.

Но в *то* мгновение – времени больше не существовало. Были только звёзды. И неважно, что не было воздушного шара. Неважно, что, весьма вероятно, в следующий момент доски под старшим братом подломились, и он переломал себе ноги.

Слой воздуха около земли до этого самого мгновения словно отделял его от звёзд. Словно был наполнен чем-то мутным, не дымом и не паром, а каким-то газообразным студнем. Младший брат помог ему избавиться от этой мути. Бессильный младший брат.

Вот такая грустная история, бесконечно повторяющаяся во всех временах и народах.

Я улыбнулся. Холод бодрил и располагал к каким-то действиям. Но по времени – давно пора было спать. Почему человек не делает сразу того, что ему хочется? Почему человек не знает сразу, чего ему хочется?

Я слишком засиделся на одном месте, в своём медвежьем углу – совсем как младший брат. Необходимо было куда-то бежать – совсем как старшему брату.

Поезд

«...фффишиууфф где-то поезд свистит...»

Д. Джойс

И тут мне вспомнился ещё один эпизод. С опозданием на поезд. Эти опоздания на поезд всегда меня смущали. Вроде бы сны об убегающих поездах намекают на то, что ты чего-то не успеваешь. Недаром ведь сложилась поговорка новейших времён: «Поезд ушёл». Но может быть, иногда опоздание на поезд даётся как благодать. Может быть, иногда надо сойти с рельсов и пойти по перпендикуляру.

Тогда мы были с бабушкой. Только вот никак не могу вспомнить – в каком городе? Саратов или Ростов-на-Дону? Но, во всяком случае, это был достаточно большой город. А реки что-то я там большой не заметил.

Мы опоздали на поезд. И решили сегодня больше уже не спешить. Но сумерки быстро сгущались, на улицах вблизи вокзала разгорались редкие фонари. Необходимо было найти место для ночёвки. Мы решили углубиться во дворы. Сначала думали – ночевать на лавочках. Но довольно скоро, хотя уже совсем в потёмках, обнаружили старую машину с незапертой дверцей. Преодолев сомнения, мы залезли внутрь. Там оказалось достаточно чисто, ничем особо плохим не пахло, да и сиденья были не в пример мягче полуразбитых уличных скамеек. К тому же, снаружи становилось весьма прохладно. Стояла средняя весна, и континентальный климат давал себя знать.

Не все окна машины были целы, но мы довольно ловко завесили недостающее старым бабушкиным тряпьем, та-

ким образом дополнительно замаскировавшись. Надо сказать, что машина, давшая нам пристанище, была загнана в такой угол, что вряд ли кто-нибудь стал бы ею там интересоваться. В довершение всего, её, весьма удачно для нас, скрывали, в беспорядке разросшиеся, дворовые кусты и деревья.

Разве что мальчишки заберутся сюда поиграть в войну, или какой-нибудь любитель пива забредёт облегчиться. В общем, мы устроились что надо. И сразу стало нам тепло и уютно. Одного боялись мы: проспять и не успеть завтра утром на следующий поезд в нужном направлении. Ведь конечной точкой нашего назначения был отнюдь не этот город.

Бабушка утешала меня как маленького. Я и был не очень большой, выглядел на лет 12-13. А я уговаривал её не слишком волноваться, выявляя своё знание современной быстрой жизни. Кажется, она доверилась мне или только сделала вид. Мне же, на самом деле, с ней было намного спокойнее. Мы были два сапога пара, нам вместе было хорошо. Хотя иногда мы и тиранили друг друга, в конце концов, нам это обоим шло на пользу. Но уж ни за что на свете мы бы не согласились доверить это тиранство кому-нибудь другому, оно должно было быть чисто взаимным, то есть – домашним.

Мы спали. Над городом вставали звёзды, и ещё заметнее холодало. Но мы лишь крепче жались друг к другу и поплотнее укутывались в припасённое на дорогу тряпье. Этот не много затхлый запах бабушкиного демисезонного пальто я бы ни с чем не спутал и сейчас. Время тянулось. И казалось,

что это не звёздный свод поворачивается над нами, и даже не земля вместе с нами под звёздным сводом, а сами мы – поворачиваемся со своей машиной, как будто заключённые в толстую стрелку гигантского компаса. И так – плавно и музыкально всю ночь меняли мы положение по отношению к светилам, позволяя их лучам пробегать по нашим лицам круглыми пятнышками. И хотя от крепчающего морозца и масштабов пространства нас пробирал временами лёгкий озноб, всё-таки это было очень уютное поворачивание – как в планетарии.

Мы знали, что далеко не улетим. Не уедем. Мы в городе, в заштатном дворе. Завтра встанем и пойдём осматривать окрестности. Раз уж мы сюда попали, глупо упустить возможность ознакомиться со здешними достопримечательностями. Главное – не проспать.

Мы проспали. Когда проснулись – было уже совсем светло. Хотя каждому из нас казалось, что вот-вот только ещё светает. Я-то известный соня, а вот бабушке полжизни приходилось вставать до восхода. Но тут и она сплеховала. Видно, утром мы пригрелись и захрапели по-настоящему. А до этого она не только мёрзла, жертвуя собой и стараясь лучше утеплить меня, но ещё и волновалась за двоих о нашей текущей и дальнейшей судьбе.

Выглянув из окошка, мы никак не могли сообразить в какой стороне вокзал, т.к. при свете дня всё вокруг выглядело совсем по-другому. К тому же, никто из нас – по странному

стечению обстоятельств – не мог вспомнить, во сколько собственно отправляется поезд.

Бабушка полагала, что где-то в три часа, я сомневался и полагал, что в двенадцать. У нас не было часов, и мы не могли точно определить время. По солнцу время определять мы не умели, да и не было его видно, солнца. Тогда мы встали и вышли из машины. И опять-таки решили, что не будем торопиться, а пойдём не спеша. Кажется, до трёх ещё много времени, и мы успеем осмотреть город.

Этим мы и занялись. Бабушка ходила медленно, ей приходилось с трудом догонять меня. Я же то убежал вперёд, то возвращался обратно, всегда с маленьким открытием, типа того, что вон там, на углу, продаётся мороженое. Она ждала меня и волновалась.

В городе бабушке нравилось. Особенно она расплывалась в улыбке, когда мы нашли место для отдыха в одном из центральных скверов и, наконец, присели после довольно продолжительной пешей прогулки. Мы ели мороженое. Я – уже не первое.

Тут мы оба вдруг вспомнили, что надо торопиться на поезд. И пошли. Слева громоздился необычайно длинный дом с почти безоконной жёлтой стеной. По верху стены шло украшение, вроде, перемежающихся щербинами, квадратных зубов башни.

Бабушка запыхалась, но всё равно продолжала идти быстро. Теперь я едва поспевал за ней. Вот уже ограждение, за

которым платформа, откуда должен был отправляться наш поезд. Но нужно ещё как-то пройти туда, вероятно, придётся обходить.

Бабушка совсем занервничала, схватила меня за руку, и мы побежали. Это, конечно, мало походило на спринтерский рывок, бабушка с её сердцем и весом мало была способна на такие подвиги. Однако, несмотря на все препятствия – как-то: неудачное расположение дверей, подходов, ступенек, людей, деревьев и прочего, – мы всё-таки успели. Почти... Поезд тронулся, когда бабушка уже была готова схватиться свободной рукой за поручень. Ко всему прочему, пошёл он не в ту сторону, куда мы ожидали.

Бабушка чуть не расплакалась. Но может быть, это был не наш поезд? Может, следует дождаться следующего? Как там с билетами? Может быть, в этом проблема? Есть ли у нас деньги?

А я смотрел как зачарованный на медленно уплывающие вагоны. Если бы я был один, без бабушки, непременно бы вскочил на ходу. Это представлялось совсем лёгким делом. Но бабушка мне бы никогда не позволила. А сама она, боюсь, не смогла бы правильно запрыгнуть и удержаться – возраст не тот. Вот так мы и остались, я и бабушка, словно клещами сжимающая мою вспотевшую и выskalзывающую руку.

Правда, вагоны уходящего поезда были какие-то страшные. Больше половины из них – товарные. На платформах ехали некие громоздкие кубообразные агрегаты, накрытые

чёрными чехлами – не то танки, не то комбайны.

Слёзы приостановились на бабушкиных щеках. Я заметил, что и она сомневается. Она обернулась ко мне.

– Ну что, пойдём? – сказала она.

Это значило, что мы опять будем ночевать в машине или там, где на эту ночь нас поселит судьба. Похоже, мы становились профессиональными авантюристами. Странная у нас подобралась для этого компания.

– Это не наш поезд, – сказала бабушка, когда мы немного отошли от платформы. Может быть, таким способом она пыталась себя утешить, а возможно, это был вполне трезвый вывод умудрённого горьким опытом старого человека.

Я молчал. Снова темнело. Бабушка подняла лицо и посмотрела на небо. Нужно было чего-нибудь поесть. Чего-нибудь более серьёзного, чем мороженое. Мы сели на пристанционную скамейку и распаковали наши пожитки. Там нашлись огурцы и помидоры. Ещё хлеб, чёрный. Крутое яйцо. Бабушка ела мало, всегда мало. Удивительно, как она при этом оставалась толстой, относительно толстой. Я тоже был так себе едок. Бабушка вздохнула. Я прислонился головой к её мягкому плечу. Так мы и сидели, ещё не засыпая, следили, будто исподтишка, за товарняками и электричками, поглядывали, как мерцают загадочные разноцветные огни на железнодорожном полотне, и слушали, как лаются на непонятном жаргоне в мегафоны, казавшиеся тут всемогущими властителями, невидимые диспетчеры.

На город быстро спускался вечер. Тени от проводов проплывали по асфальту в свете проезжающих фар. Где-то совсем вдалеке шумела кабацкая музыка.

Зазимки

«Всё обледело с размаху...»

Б.Л.Пастернак

В юности своей, а точнее в позднем детстве – пожалуй, тот самый возраст, в котором я предстаю в ранее описанном эпизоде – я часто, даже слишком часто, помышлял о побеге.

Все мальчишки хотят бежать. По крайней мере, у детских литераторов и обслуживающих их литературоведов сложилась такая стойкая легенда.

Я хотел не просто бежать. Я хотел бежать, чтобы вернуться. Мне уже тогда казалось всё это невыносимым. Я не видел выхода из лабиринта.

Я думал, что во всём виноват город. Стоит мне разорвать его цепи, и я стану свободным. Я хотел бежать в лес. Мне не давали. Не пускали меня те люди, которые меня больше всего любили, то есть мать и бабушка.

Это было тяжёлое испытание. И для меня, и для них. Они победили. Но это была Пиррова победа. В каком-то смысле я всё-таки убежал. То есть стал взрослым. Возненавидел уют родного крова, оторвался от родных. И сумел по настоящему

возлюбить ещё что-то.

О, это удел всех юных! Увы, опять-таки не всех. Судьба избавила меня от скучной участи мамино сына, но бабушкиным внуком я остался ещё и до настоящего момента.

Отчего же убежал мой герой? От пошлости. А под пошлостью я подразумевал в первую очередь секс, отделённый от любви. В одной из поэм я описывал какую-то ужасную пьянку, в которой все опились, облевались и целовались между собой без особого разбора. В юности во мне очень сильны были обличительные тенденции, вероятно, из-за того, что я не пользовался удовлетворительным спросом со стороны женского пола.

Ну а ещё, как бы убивая двух зайцев, мой герой бежал от неразделённой любви. Почему-то считалось – в соответствии с ни на чём не основанной, но вполне уверенно сложившейся в моей голове парадигмой – что это парадоксальное бегство должно привести к успеху. Под успехом подразумевалось моё триумфальное возвращение в общество, где я сразу обрету любовь раскаявшейся в своих ошибках суженой и устойчивое положение, которое всем прочим подобает поднести и бросить под ножки Победителю.

Такой проект, конечно, не мог не вызывать некоторых сомнений даже у его смелого создателя. Сколько лет придётся сидеть в лесу? Удастся ли там выжить? И каковы гарантии, что все желания в реальности исполнятся?

Но я успешно отгонял от себя все эти и подобные им ма-

лодушные вопросы, и продолжал ваять в душе обелиск прошедшему все испытания и получившему все блага Триумфатору.

Тем усиленнее шлифовал я бока своему кумиру, чем менее обстоятельства моей жизни хоть каким-то боком давали мне основания надеяться на хорошее.

Итак, поскольку мероприятие с самого начала получало ореол трагической безнадёжности, оно хотя бы внешне должно было выглядеть как можно более привлекательным. Тут уж ничего лучшего не придумаешь, чем романтика и фантастика, кто бы что в разные эпохи ни подразумевал под этими двумя расплывчатыми терминами.

Летом ещё понятно, что делать в лесу. Можно питаться грибами и ягодами. Если есть река и рыболовные снасти, можно ловить рыбу.

Но зимой, при нашем климате... А я ведь имел в виду именно наш, русский, лес, даже преимущественно сибирскую тайгу, а вовсе не какие-то там индийские джунгли.

Тут выходила неувязочка: как я там буду? Смогу ли пережить хоть одну зиму? Ведь я не намериваюсь жить в деревне, а вовсе хочу порвать с людьми.

Перебирая возможные варианты, я остановился на медвежьем. Может, получится хотя бы часть зимы проспять?

Но берлога слишком похожа на могилу. От земли тянет холодом. Брр! Если уж я туда лягу, то наверняка весной не встану или весенними водами меня затопит. Сами подумай-

те, велико ли удовольствие выбираться из ямы, затопленной талым льдом пополам с грязью?

С другой стороны, как впрок не утеплийся, достаточного количества вещей с собой всё равно не унесёшь. В палатке костёр не разведёшь. Снежные хижины я строить не умею, да и не очень верю в них. Вспомните хотя бы лисичку из сказки. Плотницкому ремеслу не обучен и не хочу учиться. Деревья рубить жаль. Охотиться не хочу, зверей жаль. И нет ружья. И нет разрешения на ружьё. Нет даже охотничьего ножа. Вот это жаль!

Короче, остаётся только берлога. Но не на земле, на дереве. Я всё-таки неплохо знаю биологию. Прячутся же там всякие более мелкие звери – сони, например, точно впадают в спячку, на то и сони.

Вопрос только в том, где найти такое дупло, чтобы в нём уместиться? Вот проблема. Или предварительно надо как следует похудеть? С этим проблем не будет, если победовать некоторое время на подножном корму. Так что, всё удовлетворительно решается – как-нибудь втиснусь. А уж вылезу-то тем более.

Надо всё-таки только как можно более утеплиться. Ну там, все возможные тряпки – само собой. Но ещё и трава, т.е. сено и мох, т.е. сфагнум и ... Что найдётся, то и использую. Жаль, конечно, костра там нельзя будет разжечь. Дупла у нас такие могучие не бывают. Тут тебе не баобабы. Разве что – в дубе? Конечно – только в дубе!

Я всё пытался представить себе такое дупло. Но всё, что успел я разглядеть в нашей бедной городской жизни, это зияющие пустоты в основании умирающих от старости и людского внимания вётел. В этих пустотах, несколько скрючившись, вполне можно было поместиться, но оттуда обычно разило мочой и другими нечистотами. Это несколько портило впечатление.

Помнится, я жадно перечитывал в детской энциклопедии те места, где описывались супердеревья, в корнях одного из которых была сделана арка для проезда машин, а на пне другого устроена танцплощадка. Но, увы – всё это было только в Америке.

Я же уже тогда не мог отступить от своего патриотизма. Сибирь – так Сибирь.

И вот мой герой в дупле. Он залез туда заблаговременно, как только начало холодать и в лесу кончились последние грибы. Наверное, он просидел там с месяц-полтора, пытаясь спать, чтобы не испытывать муки от холода и голода. Вероятно, это всё-таки как-то ему удавалось, т.к. в противном случае мы бы вряд ли застали его живым.

Итак, герой спал, а в лесу настала зима, настоящая зима. Т.е. выпал снег и ударили нешуточные морозы. Казалось бы: тут-то как раз спать да спать, крыться от греха в самую глубокую диапаузу. Но не тут-то было. Что-то будит нашего героя, какой-то звон. Внутренний или внешний.

Непонятно. Но странная тревога заставляет его проснуть-

ся в самый неподходящий момент. А может быть, если бы не это неожиданное пробуждение, он бы уже замёрз? Может, сработал некий предохранитель, а значит – необходимо размяться, немного поесть? Хотя бы снега погрызть, чтобы утолить жажду и избежать обезвоживания организма?

И кто же, кто, в конце концов, разбудил героя? Тут не обошлось без мистики, без сил леса, которые являются амбивалентными, т.е. не то чтобы совсем добрыми, не то чтобы совсем злыми.

И это были не банальные старички-лесовички и кикиморы, а совсем необычные, ранее не известные герою даже из сказок, существа, которых здесь уместнее всего будет называть Зазимками.

Они смеялись, катаясь по свежему, ещё неглубокому, но уже жёсткому, а потому хрустящему, снегу, и похохатывали. Кататься было удобно и привольно, потому что формой они были похожи на яйца, особенно когда прижимали к туловищу мохнатые руки и ноги, а кругом, рядом с дубом, где почивал герой, было полно всяких ямок, пригорков да кочек.

Из дупла же можно было выглянуть на довольно обширную и, ещё более как будто расширившуюся от белизны снега, поляну, где и бесновались Зазимки.

Поначалу герой принял их за медвежат. Но потом испугался. А потом его пробрал озноб. Да такой, что уже не до мистического созерцания и эстетизма ему стало. Он как мешок или сам как яйцо, выкатился из гнезда, довольно больно

плюхнулся на корни и покатился вниз, и стал кувыркаться и ухахатываться вместе с Зазимками. Только так можно было согреться.

Через полчаса или через час всё пришло в норму. И Зазимки исчезли, сделав своё дело, т.е. побудив героя к действию. Герой согрелся и остался один в лесу. Он озирался вокруг совершенно новыми глазами. От него теперь – и не только изо рта – валит не кончающийся пар. И – словно этот самый пар застывал на окрестных деревьях инеем. Деревья же свешивали к нему свои ветви, словно белые кораллы.

Нужно было что-то решать...

Интерлюдия

«Нет убедительных доказательств необходимости любить...»

Б.Паскаль

Всегда нужно что-то решать. Но не всегда хочется. Всегда костеришь себя за лень, и снова откладываешь на завтра. Но и если поторопишься – что в конце концов сделаешь? Что можно сделать, если ничего нельзя сделать? С собой покончить? Тоже мне – выход.

Так вот: я этого и жду, я сижу и жду, я лежу и жду, я сплю и жду...

И во сне я...

Есть такие способы движения, которые для человека до-

ступны только во сне. Говорят, что можно себя запрограммировать на полёт. Мне это представляется нечестным. Если ты без всякой предварительной программы во сне не летаешь – значит, тебе некуда летать и незачем. Значит – ещё не пора тебе лететь.

Я убегаю сам от себя. Говорят, от себя никуда не деться. На первый взгляд – так. Но что-то во мне противится. Должен, должен быть какой-то выход. Надо только подождать. Или уже сейчас начать рыть... Вот только где?

«И где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Кажется, что сейчас-сейчас пойму. Уж очень прозрачно стих этот евангельский на мою ситуацию намекает. Я уже очень близко. Но то ли ещё окончательно не проснулся, то ли наоборот окончательно не заснул. Я и с открытыми, и с закрытыми глазами вижу плохо, опять-таки пользуясь новозаветными терминами, «как бы сквозь мутное стекло».

Возможно ли преодоление этого унижительного состояния? Но, может быть, состояние это не такое уж унижительное? Как у всех?

А что мне за дело всех? Кто они? Я уже не знаю. Есть ли они? Только молва о них идёт. Вдруг она идёт только в моей голове? Вдруг я солипсист? Но даже в этом, предельном, случае надо что-то решать.

Я не знаю, что мне делать со *всеми*. Но с *собой*-то мне что делать? Вот вопрос. Я не столь наивен, чтобы предполагать, что я могу не быть. Быть. Но *как быть?*

Пришёл бы кто-нибудь из этих *всех* и стукнул бы по моей голове деревянной киянкой! Такой киянкой – командиры успешно вправляют неумеренно залихватски выгнутые наружу кокарды на ушанках подчинённых. Ум мой лезет из меня подобно такой кокарде, как грыжа, горит на моём лбу, как звезда. Не дьявольская ли это программа? Свят! Свят! Свят!

Всё в конце концов должно быть уплощено, возвращено в привычную плоскость. Я прорезался как барельеф, но всё ещё никак не могу обрести полного объема. Жалкий плоскостик!

Это на философском языке называется трансценденцией. Вот – чего мне не хватает! Эко – чего захотел!

Что же, что может помочь человеку трансцендировать? Ну? Кажется, я догадываюсь... Вы тоже уже догадались? Это так просто, но так больно.

Позор

«...тем самым Гитлер лишился ощущения реальной действительности...»

Э.Маништейн

И опять началась война. На этот раз с Китаем. Всё с самого начала было безнадежно. Мы пропустили нужный момент, когда ещё можно было пойти на переговоры. Наверняка добились бы уступок. Но теперь...

Солдаты, мёртвые и живые, лежали в окопах, до половины наполненных талой водой со снегом. Там же плавало дерьмо. Всё это соответствующим образом пахло.

Военные действия велись неспешно, так неспешно, что казалось, все мы за это время успеем умереть. Для китайцев такая стратегия была выгодна, т.к. их было значительно больше, им можно было просто подождать.

Хорошо ещё – я был каким-то маленьким начальником и не в пехоте.

В казарме, впрочем, вполне чисто. Койки – в один ярус, ровными, по ниточке, рядами – по обе стороны от широкого прохода. В этот час тут было совершенно пусто.

Вид белоснежных накрахмаленных простыней отвлёк меня от дела, по которому я собственно забежал сюда. Пакеты, канцелярии, штаб, майор и прочая – проносились в моём мозгу каким-то серым туманом. Вдруг всё улеглось. Я поправил планшет у себя на боку, не понимая, что это такое.

В горле образовался небольшой, но вполне ощутимый комок. Скорее – повод прокашляться, чем тоска по дому. Но я почему-то не прокашлялся, а постарался вспомнить дом. Из этого ничего не получилось. Глаза были абсолютно сухи – даже пальцем из них не выдавить слёз. Векам стало больно от шершавых подушек пальцев.

Я углубился в узкую гавань между двух рядом стоящих коек. Я ещё не знал, зачем это делаю. Всего за минуту до этого или за десять минут у меня были совсем другие мысли.

Понятные и совсем другие.

Я оглянулся – нет ли кого в казарме? Прислушался. Всюду было тихо и пахло свежесмытым деревянным полом. Разве что где-то в неугадываемой дали, работала какая-то машина, скорее всего, что-то отсасывал насос. Даже часы не тикали.

Я обернулся лицом к проходу и присел. Мне захотелось спрятаться за этими, свисающими с обеих коек по углам, простынями. Мне даже не пришло в голову, что постели в казарме были застелены каким-то особым, не совсем солдатским стилем.

Я снял штаны и... Я не мог удержаться. Не припомню, что я ел, не припомню, чтобы у меня было что-то похожее на понос накануне. Сначала ещё я как-то пытался дозировать то, что из меня выходило, но потом сдался. Вышло всё, всё что могло.

Я не стал смотреть на пол, а лишь инстинктивно пошире переступал, чтобы не вляпаться. Кажется, брызги попали мне на щиколотки. Бумаги не было. Я меланхолично посмотрел на планшет.

Мне даже странно было, отчего я не пугаюсь. Я прислушался, ожидая уловить чьи-нибудь приближающиеся шаги, но, честно говоря, мне было всё равно. Мне не было стыдно, или почти не было.

Почему-то я знал, что меня не засекут. Никого здесь нет. Я могу не торопиться. Уйду когда захочу. Я даже наслаждался своей безнаказанностью.

Пусть потом думают кто что хочет. Это не моя война и не моя казарма. Я был здесь случайно, это всё мне кое-что напоминало... А дальше? Что дальше?..

Цветы

«Огнём дохните, и конец цветам...»

И.В.Гёте

Тема дерьма нерасторжимо связана не только с золотом, но и с цветами. По этому поводу нелишне будет рассказать ещё одну притчу.

Случилось так, что двое полюбили друг друга. Это были очень молодые люди. Вероятно, студенты. Она – этакая эфемерная блондиночка в голубом пальто, серёжки колечками, и такие же, как пальто – пронзительно голубые глаза. Он – довольно высокий, жилистый, русоволосый, с глазами цвета зеленого чая, несколько неуверенный и неуклюжий в движениях. Трудно сказать, кто из них влюбился сильнее! Это был редкий случай. Тот случай, когда Господу угодно, чтобы двое сразу соединились и навсегда.

Тут не было долгих ухаживаний с его стороны. Не было хитроумных попыток обратить на себя внимания – с её. Никакого соперничества. Вообще – почти никакой интриги.

Они просто встретились. Кажется, это произошло в музее. Просто начали говорить. Вышли вместе, пошли по ули-

це, взялись за руки, а когда расставались, не только обменялись телефонами, но и поцеловались, в губы. В общем, ничего особенного. Если не считать того, что они увиделись снова уже на следующий день, хотя и жили на разных концах города.

Не знаю, сколько времени прошло. Но было лето, когда они, встретившись в Ботаническом Саду, стали мужем и женой. Цветы и деревья были тому свидетелями. И даже пыливый милиционер не вмешивался в таинство, а ходил поодаль по тропинке, словно охраняя влюблённых.

А может быть, у них ничего и не произошло. Может быть, и не было того, что на скупом языке протоколов называется связью или интимными отношениями. Может быть, и не целовались. Может, только бабочки над ними порхали – устраивает?

Так или иначе – они вступили в брак, но не могли скрепить его печатью в гражданском учреждении или освятить в церкви. На то были свои причины, а уж насколько они были объективны – не нам судить.

И он и она побаивались родителей, которые наверняка стали бы досадовать на столь раннее образование семьи и ратовали бы за продолжение учёбы. Ибо их чада должны быть – лучше их, умнее их, счастливее их...

Может быть, его забрали в армию. Он ведь из-за пожаром разгоревшейся любви, наверно, совсем забросил учёбу. Может быть, она забеременела. Хотя вряд ли. Ведь не было у

них ничего.

Она, может быть, попала под машину. А он просиживал ночами в приёмном покое и умолял, чтобы у него взяли для неё кровь. И ни один врач не мог объяснить ему, что группа не подходит. Или нет – в таких случаях группы должны совпадать.

Потом, при вскрытии, оказалось, что она таки была беременна. Ему не сказали. Но он случайно узнал. Мать погибшей во всём обвиняла «жениха», чуть не сошла с ума. Он хотел идти на войну или покончить собой. Начал пить.

Скорее всего, его убили на войне. Или вовсе уж банально – замочили деды', где-нибудь в сортире. Или нет – он умер с голоду, забытый офицерами на «точке»...

В общем, он умер и она умерла. Но любовь... Никому и при жизни до них не было дела. Разве что – родителям и немногочисленным друзьям. А уж после смерти – все поплакали и почти забыли.

А эти двое не могли оказаться ни в раю, ни в аду. Слишком их тянуло друг к другу и на место их «преступления», хотя можно ли, даже взирая со строгой христианской колокольни, назвать преступлением чудо, в результате которого двое становятся одним. Может быть, как раз из-за несоблюдения традиций и приличий они не сумели совершенно слиться и объединиться при жизни? И теперь мучились – два одиноких, но вечно влекущихся и влекомых друг к другу, призрака.

Это была великая песнь цветов. Торжественная и пронзительная. Там, где цвели целые поля – тюльпаны, розы, георгины – теперь там не было ничего – лишь мерзость и запустение. И лишь старый-престарый мусорный бак, покрытый многократно облупливавшейся грязно-зелёной краской, напоминал, что здесь сажали и выращивали цветы. Один из букетов, уже совершенно завядший, длинноногий – то ли не уместился внутри бака, то ли просто был неряшливо переброшен через его бортик. Истрёпанные мёртвые растения сломались пополам. Вокруг пахло тлением. А на поле, где когда-то росли розы, стлы каменистые кочки.

Вот тут они и встретились, им теперь вовсе уж ни к чему было бояться милиционера или какого-нибудь пенсионерского самосуда. Даже если бы все прогуливающиеся в парке хором напрягли свои душевные очи – ничего бы они не увидели. Ибо действие происходило не для них. Роман касался лишь двоих, лишь того, что они друг другу недосказали.

Остальные же участвовали в эпилоге трагедии только как статисты, точно так же – как шелестящие осенними кронами деревья и замерзающая на корню под первым инеем трава.

И мне не дано было видеть призраков. Но я знал, что они есть. Они гуляли и не могли нагуляться по этому брошенному полю. И птицы летали над ними, вороны и воробьи, зимние птицы. И одинокая снежинка кружила над полем.

И так хотелось плакать – когда знаешь всё это, чувствуешь всё это, не видишь всего этого – что музыка сама собой рож-

далась из сомкнутого горла. И песнь звучала. И улетала она хоральными открытыми тонами в бесконечно тоскливое серое, истерзанное ветром, небо, где облачка казались хилыми тампончиками, скрывающими ужасные чёрные раны.

И только в час заката на землю нисходило примирение. Призраки разнимали руки и смотрели друг другу в несуществующие глаза. Он любил её, а она его. И это продолжалось. Выглянувшее на мгновение, солнце награждало пространство червонно-золотым поцелуем. Вдруг делалось тепло, вдруг у любого, кто присутствовал на поле, появлялось предчувствие, что сейчас, вот-вот, он заметит на земле человеческие тени. Но солнце скрывалось, а ветер, пришедший ему на смену, был уже не так зол. В нём была какая-то свежесть и надежда, хоть и царапал он живые щеки наждачной варежкой.

Крест

«Кто скажет мне,

Куда ушёл мой друг?..»

Ли Бо

И вспомнилось мне ещё одна притча. Про городского сумасшедшего. Он не особо выделялся своей одеждой и манерой поведения. Но вдруг – вдруг им овладела странная и

опасная идея. Никто не знает, как долго зрело в нём решение, но в один прекрасный (или злосчастный) день он решил обзавестись оружием, желательно автоматом.

В те поры, когда всё это происходило, автомат не был такой уж недоступной вещью. Требовались только деньги и некоторая настойчивость в поисках. И пусть деньги для простого смертного были немалые, и сам факт ввязывания в такую авантюру явно грозил плохим концом – нашего героя ничто не пугало. На то он и сумасшедший.

Есть такая теория. О том, что дети с ослабленной и замедленной сердечной деятельностью более склонны к агрессии. Им якобы требуется дополнительная стимуляция, чтобы ощутить возбуждение, т.е. иначе говоря, полноту жизни. Так вот, возможно наш герой был из таких. Из таких вырастают всевозможные убийцы и герои. Хотя это всего-навсего и теория, а все теории – в приложении к реальности – как правило, оказываются чушью собачей.

Но мы так и не выяснили, что же такое реальность, поэтому – не будем об ней... Для героя – реальностью было то, что он знал. Если бы он не убедился (для себя) в реальности собственных подозрений, то уж наверняка бы не взялся за такое серьёзное дело, как поиски оружия.

Долго ли коротко ли, но желание его было удовлетворено. Естественно, близкие друзья отговаривали героя от совершения столь опрометчивых поступков. Оружием в основном пользовались если не солдаты, то бандиты и милиционеры.

Как бы там ни было, все описанные категории не пользуются уважением и являются маргинальными для нормального интеллектуального общества.

Но он пустился во все тяжкие: дай ему автомат и баста. Вспоминается одна песенка, которой открывался на титрах некий советский фильм. Впрочем, ничего забавного, кроме этой песенки, в том фильме не было. Некий мальчик там просил купить своего папу, вероятно американского миллионера, автомат. Так и говорил: «Купи мне автомат, и баста!». И даже намёкал, что до тех пор, пока его желание не удовлетворено, он не видит никакого смысла в своей жизни.

Разумеется, имея папу-миллионера, гораздо легче удовлетворить безумные желания. У нашего героя с этим были проблемы. Папа, хотя был и не из пролетариев, но зарабатывал по мировым стандартам мало, возможно, рано бросил семью, где развивался мальчик, возможно, к тому моменту, когда всё это происходило, уже отдал Богу душу, царство ему небесное.

В общем, всеми правдами и неправдами, "мальчик" сумел достать автомат. И даже ухитрился избежать немедленного задержания милицией, которая, кажется, только и ждёт, когда ей попадётся подобный олух, чтобы хоть немножко улучшить свою дутую отчётность.

А автомат описываемому персонажу нужен был – как вы думаете – для чего? Для того, чтобы бороться со злом. Но не с каким-нибудь маленьким злом, в лице вредного сосе-

да или начальника, в лице соперника по любви или кого-нибудь грабителя-обидчика. Нет, героя волновали гораздо более глобальные проблемы. То зло, с которым он хотел сразиться, в контексте сего сочинения вполне уместно было бы писать с большой буквы. Да-да, он намеривался помериться силами с самим дьяволом. Ну, если ни самим дьяволом, то с его заместителями, теми управляющими, которые правили бал как раз в то время и в том месте на земле, где находился наш «автоматчик».

Очень долго можно описывать, каким образом герой вычислил точное место. Время, конечно, не менее важно. Допустим, это было провидение. Должен же кто-то сразиться с нечистью – кого-то же Бог сподобляет.

Может быть, это появилось у него уже в детстве, или ещё раньше – при рождении, при зачатии. Некое зерно, которое не могло не развернуться и не дать ростка, ростка, который должен был побудить его к действию.

Место, впрочем, было выбрано почти безопасное для окружающих. Некое поле, далеко к югу от Москвы. Весьма живописное и весьма безлюдное место. Настолько живописное, что, увидев его, многие недоброжелатели тут же в голос бы заговорили о несерьёзности героя. Мол, всё это он придумал только для того, чтобы проводить больше времени на природе. Ну, а автомат? Наверно для того, чтобы охотиться на зайцев. Или на бабочек. Мало ли извращенцев.

Когда герой, наконец, получил в свои руки долгожданное

оружие, он и обрадовался и прослезился одновременно. Может быть, он сам бессознательно оттягивал до сих пор этот момент. Теперь всё ясно. Враг силён. Настолько силён, что лучше со всеми попрощаться заранее.

Мало кто его понимал, даже близкие друзья – не очень. И он больше не просил их о помощи. Они же, те, кто знали, утешали себя тем, что в чистом поле с их мечтателем-другом вряд ли что-то может случиться. Но может быть, таким красивым способом он всего-навсего решил покончить с собой? Возникал ехидный вопрос: не стоит ли молодому человеку обратиться к психиатру? А может: сдать его властям, и хотя бы таким образом уберечь от самого себя? Но благо, в нашем народе ещё сохранилось патриархальное мнение, что доносить на ближнего своего – грех. Уж слишком сильные сделаны нам были в недалёком прошлом прививки. Друзья смотрели на мечтателя с грустной улыбкой: чем бы дитё не тешилось... Он ведь был хорошим, они любили его, да и он их любил. Раз пришла такая блажь – что тут поделаешь.

У героя была любимая девушка. Герой был молод, как и подобает герою. Но с девушкой у него что-то всё никак не ладилось. Тот факт, что он ещё не успел обзавестись семьёй и родить детей, конечно, не освобождает его от ответственности, но несколько смягчает вину.

К своей девушке он пришёл проститься в последнюю очередь. Она его совсем не ждала и, как всегда, была не слишком рада визиту. Ей не импонировала его экстравагантность,

она не видела в нём необходимой для брака надёжности. И вообще, он ей не нравился. Однако из её поклонников он был самым настойчивым и постоянным. И потому она всё-таки временами склонялась к мысли о том, что нужно, наконец, ответить ему хотя бы показной взаимностью.

Герой, ощущая, что его не любят, страдал. Может быть, это и было одной из скрытых причин его странного поведения? Но, оставив в стороне психологию, вернёмся к мистике. Отчего бы герою, например, перед столь сложным предприятием не посоветоваться со своим духовным отцом? Неважно, к какой он относится конфессии – везде нашлись бы люди, готовые наставить на путь истинный.

Он остался один. И не то, чтобы был атеистом. Какой уж тут атеизм, если учитывать, с кем он собирался драться. Наверно он был не прав, но поспешим ли мы осуждать такого, как он?

И на следующий день после того, как он простился с девушкой, он исчез. Девушка ничего не поняла, только рассердилась, когда услышала, что с ней прощаются навсегда. У неё-то были другие планы. «Ну и ладно», – подумала она, и ей даже стало легче, хотя она для порядка и поплакала, потом, вечером, когда никто не видит.

У друзей были дела и они хватились слишком поздно. Но что можно было сделать раньше? Запретить? Посадить под замок? Уговорить его уже никто не надеялся.

Они подумали, что он просто уехал куда-то. Скоро вер-

нётся. А может быть, уехал за границу. Впрочем, это было самое глупое предположение. Герой был патриотом и почвенником.

Один из его друзей, не то чтобы самый близкий, но самый религиозный, всё никак не мог найти себе места после разговора с героем. Тот разговор тоже случился в последний день, непосредственно перед тем, как герой направился к девушке.

Он горячо объяснял другу свои планы. Зло невозможно терпеть, оно должно быть побеждено. А он, именно он, знает место и время, где можно с ним встретиться лицом к лицу. Возможно ли ещё рассуждать?

«Пусть так, – возражал религиозный друг. – Но почему ты уверен, что на злых нелюдей подействуют обыкновенные пули? Разумнее было бы предполагать обратное. Не лучше ли бороться с чертями по старинке, постом и молитвой, как это делают монахи?»

Герой со всем соглашался, но твердил, что каждый должен бороться со злом всеми известными и доступными методами. Он не монах, а воин, и выпало ему бороться с чертями с автоматом в руках, хотя, разумеется, ни постом, ни молитвами он пренебрегать не собирается. А пули он отлил серебряные, на всякий случай.

Религиозный друг возразил, что, может быть, нечисть его специально подобным образом морочит и провоцирует. Что, может быть, ей только того и надо. Вдруг он, ослеплён-

ный видениями, перестреляет каких-нибудь невинных животных, или, не дай Бог, людей?

Герой же сказал, что почему-то уверен, что в худшем случае повторит один из подвигов Дон Кихота, только на современный манер. А в лучшем... Но перестанем шутить.

На этом они и расстались, пожав друг другу руки, ибо оба спешили. О многом можно было бы ещё поговорить, но у нас вечно не хватает времени на дружеские беседы. И потом ещё неизвестно, на что мы досадуем больше: на то, что мало общаемся или на то, что мы такие разные и общение часто скорее раздражает, чем утешает душу.

Через три дня религиозный друг с нешуточной силой почувствовал неладное. Его мучила совесть, что он оставил своего ближнего одного перед лицом такой страшной, пускай и выдуманной проблемы. Ведь герой ни один год звал его съездить на то место, рассказывал всякие чудеса, с ним связанные, призывал удостовериться. Но ехать нужно было далеко и непонятно собственно зачем.

Только за тем, чтобы удовлетворить невероятные амбиции милого фантазёра? Или для того, чтобы переубедить его? Нет, такого не переубедишь. Он даже очевидные факты будет трактовать по-своему. У каждого ведь свои глаза.

С ним было приятно общаться, но некогда. У него была слишком свободная жизнь. А тут – примерный семьянин и работник. Всегда найдётся, как использовать свои короткие выходные более продуктивно. Необходимо, например,

ходить в церковь. Он это чувствовал. И в душе осуждал легкомысленного друга-воина, который церковь почему-то не посещал.

Как раз был подходящий день. Примерный семьянин и работник исповедался и причастился, а уж затем начал обзванивать родственников и прочих друзей человека, с которым, как он всей душой чувствовал, приключилось-таки что-то недоброе.

Позвонили и девушке, которая видела мечтателя последней. Она чуть не бросила трубку в самом начале разговора, но потом всё-таки рассказала всё, что ей известно. Т.е. почти ничего. Такие пустяки её не очень волновали. Религиозному другу захотелось своей рукой убить эту девку, хотя он сразу же осудил себя внутри за такие греховные помыслы.

Общими усилиями он и ещё несколько друзей героя (никто из них без него между собой раньше почти не общался) – они сумели вычислить приблизительный маршрут, по которому мог направиться исчезнувший. Кто-то из них припомнил от руки нарисованную карту, которую герой неоднократно совал им под нос.

Наконец, спустя ещё несколько дней, несмотря на то, что были всё ещё будни, решили ехать. Стояло почти лето. Самая сладкая пора, жаркий май. К югу же от Москвы, где предположительно пропал герой, всё это вовсе могло сойти за июнь.

У них ещё была жива надежда, что мечтателя повяза-

ли где-нибудь по дороге за ношение несанкционированного оружия. Однако все они припоминали, каким он мог вдруг становиться хитрым и осторожным, если это ему было необходимо.

Религиозный друг и ещё двое других взяли отгулы на работе. Почти всем это стоило неприятностей, но теперь они ощущали себя правыми, и это чувство, что делаешь правое дело, далеко превышало на весах все возможные бытовые и карьерные неприятности.

Стояла неправдоподобно прекрасная погода. Едучи в полупустой электричке и обозревая обочины, они восторгались и корили себя, что до сих пор ещё никто из них не поддался на уговоры общего друга, и не отправился с ним туда, куда они нынче ехали. Может быть, тогда всё было бы иначе?

Но что с ним, в самом деле, могло там случиться? Не такой же он дурак, чтобы стрелять себе в голову? И стоит ли для этого тащиться так далеко? Всякое бывает... Знали ли они его достаточно хорошо? Но поверить было трудно.

Когда они вышли на нужной станции, день уже начинал клониться к вечеру. Но до темноты даже здесь, на недалёком юге, было ещё очень далеко.

Они пошли по плану, который создали вместе, вспомнив каждый что-нибудь своё. И к их удивлению, план этот вполне помогал им в передвижении. Например, сразу была найдена тропинка, про которую, как выяснилось, всем им говорил их общий друг. А потом нашёлся источник под горой, о кото-

ром он тоже всем им говорил. У них стала крепнуть уверенность, что они отыщут его. Если не его, то хотя бы место, где он предположительно должен находиться. Но, может, он их обманул? Преднамеренно ввёл всех в заблуждение? Чтобы его никто не искал? Или искали, да не там?

Конечно, их мучили и такие сомнения. Ведь никому неохота было тащиться по такому пустому поводу в такую даль, к тому же рискуя своей репутацией на службе и в семье.

Но воздух в этих полях и перелесках был воистину пленительным. Уже зацвёл шалфей и земляные орешки, травы о существовании которых друзья до сих пор даже не догадывались. Ветер доносил запахи навоза и гнилой соломы, но и они на фоне открывшегося вдруг холмистого раздолья казались таинственными и очаровательными.

– И с чего он взял, что здесь водятся черти? – сказал один друг.

– Черти знают, где им обосноваться, – сказал другой.

– Да уж, плохое место не выберут, – завершил религиозный.

И дальше они шли молча по узкой, неведомо кем утоптанной, тропинке, гуськом. Поднимались и спускались, минуя пологие травянистые холмы. Кругом никого не было – ни зверя, ни человека.

Места были довольно однообразны. Надо сказать, что они были однообразно красивы. Такова русская природа. Эти берёзки и кусты, ветви которых, словно косу, заплетает души-

стый ветер... Пиши сколько хочешь пейзажей или лирических стихков.

Все сошлись на том, что идти от станции нужно несколько километров. Сошлись и в направлении – северо-восток. Вспоминались и кое-какие приметы, вроде отдельных возвышенностей или деревьев. Но никакой уверенности не было. Решили присесть отдохнуть и обсудить положение, заодно и перекусить.

Понятно, что нужно было спешить, но куда? Ведь наобум можно забрести вовсе в сторону от цели.

Ели бутерброды. Нашлось и вино, и чай из термоса. Жаворонки звенели у них над головами, и от них делалось ещё тревожнее. Выпили за удачные поиски, за то, чтобы оказался жив. От третьего захода религиозный друг отказался. От алкоголя у него начинала болеть голова.

Если он жив, то стоит ли его здесь искать? А если... Эта мысль пришла им всем одновременно, вернее она всплыла оттуда, где её они до сих пор удерживали, точно поплавок в темноте под водой. Они ещё не успели доестъ. На запах...

Конечно. Если он, не дай Господи-Боже, погиб, то это скорее всего произошло не сегодня. Не сидел же он здесь в ожидании своих чертей неделю? Тогда где-то здесь должна быть его палатка.

Они засуетились, встали, собрали вещи. Куда идти? Место было похоже на то, которое описывал им не раз их друг. Но здесь было столько похожих мест!

И тут одному из них – ибо все они стали приноживаться – показалось, что он чует. Конечно, это могло быть какое-нибудь полуразложившееся животное, например, собака.

Они пошли на запах. Но ветер морочил их. Они долго кружили по холмистым полям. Вспотели и устали – почти все они обулись в слишком тяжёлую обувь. И тут кто-то вспомнил, что *место* должно быть плоским. Друг описывал его как чашу, вернее тарелку, плоское округлое пространство среди невысоких кочек, поросших кустарником. Им показалось, что именно в таком пространстве они сейчас и находятся. Еле заметную тропинку, по которой они шагали, перебежал опрометью небольшой заяц. Они остановились. Может быть, это был знак?

– Вот он! – вдруг заорал один из них.

И все сразу почувствовали, как запах усиливается, лавиной. Теперь уже никто не сомневался, что это запах тления и что речь идёт о ком-то мёртвом. Погода и все предыдущие дни стояла погожая, почти жаркая. На таком солнце он должен был уже достаточно хорошо разложиться.

– Это он, – сказал тот, что кричал.

– Ты уверен? – спросил религиозный, который не доверял своему зрению.

Они подошли ближе. Удивительно было, как они раньше его не заметили. Кружили где-то рядом. И тут же один из них ударился мыском ботинка обо что-то твёрдое.

– Пуля, – сказал он и подобрал из травы расплюснутую

металлическую бляшку.

– Серебряная, – полуспросил религиозный.

Они подошли ещё ближе. Запах стал невыносимым. Они поневоле отворачивались и зажимали носы.

Он лежал на спине, крестом, широко раскинув руки. Он смотрел бы в небо, но глаза уже успели выклевать во'роны. Почему-то сейчас их не было поблизости.

Религиозный, учащённо дыша, вытер пот со лба тыльной стороной руки.

– Это он? – спросил он.

– Похоже, – сказал тот, что кричал.

– Что будем делать? – спросил третий.

Они, не сговариваясь, отошли подальше, навстречу ветру. Садиться как-то не хотелось, смотреть в сторону трупа – тоже. Всеми овладела растерянность. Что хотели, то и получили – что дальше?

Каждый из них представлял себе сейчас, что тут случилось. Отчего погиб герой? С кем он вправду сражался? Может быть, это была группа каких-нибудь вооружённых бандитов?

Об кого он расплющил пулю? – спрашивал каждый себя в душе своей. И каждому представлялась армия монстров, наступающих на героя, который залёг за травянистыми кочками со своим жалким автоматом. И вот он палит, палит, палит серебряными пулями... Сколько было у него обойм? Откуда он взял столько серебра?

А может быть, они и не нашли его, не стали искать. Так и пропал он без вести. Так и лежал в поле, пока не превратился в абсолютно чистый скелет, скелет, раскинутый крестом. Автомат, конечно, подобрали добрые люди, если не сами черти. Кто-нибудь из этих добрых людей, возможно, вырыл могилу и похоронил его здесь же. И наверняка он постарался, чтобы не осталось ни холмика, ни какого-нибудь иного знака, отличающего место захоронения. Кому нужен автомат, тому не нужны свидетели. Да и кому не нужен автомат – ни к чему общаться с нечистоплотными законниками – упекут ведь – надо же на кого-то убийство повесить.

Все у нас всё знают. А он знал вот нечто большее, за то и поплатился. И друзья его оплакали. Собрались через год после приблизительной даты предположительной смерти и выпили за него как за живого. И опять религиозный пил мало – голова болела.

А что изменилось в мире? Удалось ли герою хоть немного уменьшить количество зла? Бог весть!

Страх

«Ибо нет спасенья от любви и страха...»

О.Э.Мандельштам

Общество было переполнено страхом. Особенно страшили выходцы с Кавказа, такие чёрные, и на самом деле чем-то похожие на святоотеческих чертей. И носы-то у них крюч-

ками.

Я ехал в трамвае к одному своему другу. Вечерело, но почему-то в вагоне не зажигался свет. Вдруг на одной из остановок зашли контролёры. Их было трое, и, когда я присмотрелся к ним в полумгле, то понял, что это те самые, с Кавказа.

Наверняка, удостоверения у них были поддельные, хотя и говорили они между собой чисто по-русски.

Кто-то стал возмущаться, что его собираются оштрафовать, и посоветовал контролёрам убираться восвояси, т.е. на Кавказ. У меня хоть и был проездной, но душой я не мог не стать на сторону братьев по крови. Ибо, во всяком случае, плохо знаю о своей кровной связи с кавказскими народами, в славянской же своей составляющей – почти уверен.

Тут – как раз, на следующей станции – вошли настоящие контролёры, и ситуация совершенно прояснилась, стала, можно сказать, вопиющей. Больше некому было поддерживать самозванцев, и они, чертыхаясь, стали ретироваться, пытаясь покинуть вагон через одну из дверей. Хотя, вовремя среагировавший водитель уже и прихлопнул все двери, одну из них хитроумный кавказец всё же успел застопорить своей ногой, таким образом оставляя путь на свободу своим подельникам. Общество между тем наступало, и двое, успев воспользоваться расширенной ими совместно лазейкой, спрыгнули, когда трамвай притормозил у светофора.

– Деревня! – ругнулся последний из отступающих по по-

воду приближающихся законных контролёров.

И правда, в говоре последних улавливалось как бы гораздо менее интеллигентности, чем в подобных же диалогах кавказцев.

Тут мною овладел праведный гнев. Вскочив, я протолкнул к выходу, отмахивающегося от цеплявшихся за него бабок, наглеца и, схватив его за шиворот, сбросил со ступенек.

Вожатый как раз в этот момент, уже на ходу, приоткрыл дверь. Так что враг общества вывалился мешком прямо на асфальт. Возможно, он даже сломал себе ногу или что-нибудь ещё. Я торжествовал. Все присутствовавшие в трамвае мне чуть ли не аплодировали. Жаль, я не видел их лиц, было слишком темно. Пожалуй, даже темнее прежнего. Мы въехали в какой-то узкий проулок, где было мало фонарей. Настоящие контролёры не стали меня проверять – какой с победителя спрос? Спустия две станции я сошёл.

Всю дорогу, т.е. несколько минут, пока мы ехали после описанного инцидента, мною вместе с оправданной гордостью владело всё возрастающее опасение, что кавказцы могут отомстить. Они ведь вообще очень мстительный народ. Да и вёл я себя, если уж быть до конца откровенным, не совсем благородно. Выставил в спину, и без того уже смирившегося со своим поражением, противника. Конечно, это был полезный пример в том смысле, чтобы показать обществу, что мы вообще можем с ними бороться. Не надо бояться! Но я боялся. Ещё как!

На нужной мне остановке я сходил как обречённый. Думал – может проехать ещё – запутать следы? Но сошёл – будь что будет. Герой должен играть свою роль. В конце концов, мне надо именно сюда. Почему я должен бояться?

Я ступал вниз по ступенькам скованно, словно металлический робот, боясь оглядываться назад и по сторонам. Отовсюду я готов был получить удар. Сердце ушло в пятки. Я не был готов к борьбе. Даже к бегству я не был готов.

Друг ждал меня на станции, как договорились. Он недавно переехал, и я не знал его нового точного адреса. На остановке он был один. Наконец позволив себе осмотреться, я с облегчением вздохнул. Он, разумеется, не мог предположить, что произошло, и поэтому как обычно шлепнул меня по плечу и предложил следовать за ним. Надо сказать, что мне в настоящий момент как нельзя более импонировала его деловая и быстрая манера – я опасался погони.

Чем дальше мы отходили от трамвайных путей, тем легче делалось у меня на сердце. Друг наверно удивлялся тому, что я молчу и ёжусь всю дорогу.

– Холодно, что ли? – спросил он.

– Что? – вернулся я на землю, – А? Да, холодновато.

Но мне ещё не хотелось рассказывать ему о происшедшем. Может быть, вообще – не стоит.

Здесь стояли довольно старые дома, хотя внутри квартиры были отделаны по-современному. Мой друг был достаточно состоятельным человеком, чтобы поселиться близко

к центру. Когда мы проходили в какую-то арку, я заметил нескольких молодых людей, рассредоточенной группой стоявших впереди неподалёку. Тут поёжился мой друг. Я прищелкнул к парням, но не заметил в них ничего подозрительного – все они явно были не кавказцы.

Вдруг один из них подошёл ближе и, остановившись перед нами, выпятил в сторону моего друга какой-то предмет из-под отставшей полы куртки. Мне уж подумалось – не извращенец ли какой-нибудь? Оказалось – это нож в аккуратном прошитых по краю кожаных ножнах. Во всяком случае, в ножнах угадывалось нечто твёрдое.

Друг сделал полшага назад и вбок от подошедшего человека, и в то же мгновение я различил в руке незнакомого парня тускло сверкнувшее лезвие. Набравшись смелости, я заглянул нападавшему в глаза. Он опустил взор. Вероятно, ему нужен был только мой друг, но не я. Он отступил и спрятался в тени за углом арки.

Мы быстро пошли вперёд, шаги гулко отдавались под сводами. Неприятная компания отделилась заметно в сторону и не помешала нам пройти. Но не успели мы дойти до подъезда, как услышали за спиной ускоряющуюся музыку погони.

Как назло – не работал лифт, а лестницы были по-старинному широкие и шли квадратами, оставляя посередине дырку, в которую, если что, было бы так удобно сбрасывать противника.

Мы побежали вверх. Враги наши, чуть-чуть замешкав-

шлись внизу, последовали за нами.

– Он не будет здесь жить, – шипел один из них. – Думает, будет здесь жить...

– Мы убьём его! – кричал сзади другой, у него срывался голос от спешки.

Мы бежали что было силы.

– Приехал, – причитал кто-то внизу, и эхо гулко отдавалось в украшенных изразцами стенах.

– Нам такие здесь не нужны...

Тяжёлое дыхание погони, казалось, уже выступило горячей росой на наших затылках.

Мой друг всегда был ловок. Он буквально одним движением повернул ключ в замке и открыл дверь. Мы влетели внутрь, будто нас выстрелили из пушки, при этом мы столкнулись, но ухитрились не удариться головами. Дверь тут же захлопнулась. Преследователи остались ни с чем. Они только слышно дышали за железной неприступной плоскостью, как дышат запыхавшиеся собаки, высунув языки.

– Что они от тебя хотят? – спросил я, когда мы разделись и сами отдышались. Оба были мокрые – хоть выжимай, а ведь совсем недавно мёрзли.

– Если я б знал, – печально ответил друг.

Чем он им не понравился? – тут я многое мог бы предполагать. Но это был мой друг, и я должен быть и буду на стороне друга. Такова жизнь.

В квартире у друга уже находилось трое людей, тоже ка-

кие-то его друзья или знакомые. Две женщины и мужик – никого из них я не знал.

Собственно говоря, у меня не было особого дела. Я собирался просто так – посидеть в мужской компании, попить чайку. А тут – и компания оказалась не совсем мужская... Но, может быть, я забыл о нём, о своём деле? Было ведь что-то важное.

Вдруг те трое, что были в квартире, куда-то засобирались. Мы с другом тем временем, и в с самым деле, примостились пить чай за низким и неудобным – на мой взгляд – журнальным столом. Сидеть приходилось прямо на ковре.

Троица же, выйдя в прихожую, вернулась оттуда в одетом виде. Они, оказывается, собирались вовсе не на улицу, а в лоджию – наверно курить. Но когда они уже все вышли туда и закрыли за собой дверь, друг сообщил, что пошли они не курить, а колоться. Для чего нужно было колоться на холоде, предварительно одевшись, я не понял, но спрашивать не стал. Друг мой, насколько я знал, наркоманом не был, а что себе будут там вливать эти мирные жители, меня не особенно волновало.

– Просто у меня там всё лежит, – объяснил друг.

«Конспирация, – подумал я. – Всё равно нелепо...» – и понимающе закивал головой.

Чай был непривычный, с каким-то остро-восточным вкусом. В комнате играла такая же пряная протяжная музыка. Мне не хотелось волноваться, даже из-за наркоманов. Надо

им – так надо.

– А это героин? – всё же спросил я.

Друг не ответил и вздохнул. Я так понял, что не героин. Эти трое как-то не были похожи на героинщиков.

– А они не взбесятся? – спросил я.

Друг как-то неопределённо посмотрел в сторону лоджии. Я ничего не мог разобрать за отсвечивающими стёклами – какая-то суета, не более.

Троица вернулась, аккуратно прикрыв за собой дверь. Они сели вместе с нами к столу, как ни в чём не бывало. Ни по зрачкам их, ни по чему бы то ни было ещё я не смог ничего заметить. Может, они и не кололись? Может, это только так называется? Может, прикалывались?

Всё равно, мне было с ними здесь как-то неуютно. Да и они словно не знали о чём разговаривать. Сидели и улыбались – то мне, то друг другу – такими светскими, ни к чему не обязывающими улыбками.

Я спасался от неудобства тем, что прихлёбывал свой чай, уже третью чашку. Чашки, правда, были маленькие.

Тут вдруг все снова засобирались и стали прощаться. С облегчением поднялся и я. Ноги затекли от сидения по-турецки. И, как оказалось, очень хотелось в туалет. Справив нужду, я сказал другу, что тороплюсь и пойду вместе со всеми. Он не стал возражать.

На улице я направился в одну сторону, а троица в другую. Мне даже ничего не пришлось выдумывать – нам было не

по пути. Как-нибудь в другой раз – спрошу у друга, кто они такие и с чем их едят. Почему это собственно он позволяет им колоться в своём доме? Уж не распространяет ли он наркотики?

От этих мыслей мне стало неуютно. И только тут, уже пройдя добрые два квартала – ибо я спонтанно решил добираться до дома пешком – я вспомнил, что мне сегодня дважды за вечер угрожали, и довольно серьёзно.

Это заставило меня прибавить шагу, но оглядываться я принципиально не стал.

Почему-то не хотелось домой, и я решил зайти к другому своему другу – благо он жил поблизости – попить пивка. И то правда – одним чаем сыт не будешь. А наркотики я не употреблял, почти.

Друг оказался дома и как раз пил пиво. Тут я почувствовал себя в своей среде, и мы сразу решили сходить за пивом дополнительно. Почему-то на улице я посмотрел в сторону своего дома. Что-то меня настораживало. Какие-то не такие люди выходили из моего двора. Я не успел заметить и понять, кавказцы ли это, но почувял, что дело неладно.

Я поспешил войти во двор и, уже бегом, бросился к своему подъезду. Друг последовал за мной. Мы не успели добежать, и к лучшему. Взрыв, ожидание которого как раз к этому моменту переросло в уверенность, произошёл, когда до цели нам оставалось метров двадцать. Большая часть двухэтажного здания, начиная с крыши и кончая нижними под-

оконниками, рухнула внутрь двора. В жёлтой упаковке стен содержалось что-то тёмное и не слишком аппетитное. Это напоминало извержение, раздавленного ударом ноги, гриба-порховки.

Дым, пыль, гнилые доски ещё некоторое время продолжали сыпаться на мокрый асфальт и, отстоящий несколько далее, замусоренный газон. Естественно, мусора теперь везде прибавилось.

Едва оправившись от шока и парадоксальной очарованности происшедшим, ещё продолжая слышать грохот внутри ушей, я бросился к повисшей на одной нижней петле подъездной двери и одним рывком оторвал её. Поблуждав очень недолго в удушающей тьме по обломкам камней, путанице перилл и валяющейся там и сям искорёженной человеческой плоти, я обнаружил дочь, возвращаясь назад, прямо за удалённой мной дверью. Её прикрыл пухлым волосатым животом какой-то большой дядька. У него что-то не было видно головы. Доченька, тёплая и голенькая, в одних трусиках, спала. Она ещё продолжала спать. Я поднял её за талию, вынес наружу и поставил на асфальт. Она сделала мне навстречу несколько шагов. Она открыла глаза и узнала меня. Целенькая. Только, может быть, контузило немного.

В первой половине ночи я обнаружил себя совершенно пьяным на неудобной автобусной остановке. Здесь было противно светло, и несколько моих товарищей по несчастью, ве-

роятно, долго и тщетно дожидавшихся транспорта, не вызвали у меня никакого подозрения. Они были смирны как мир.

Но нужно было пописать. И я, рискуя упустить последний автобус, пошёл куда-то за прозрачную скорлупу остановки, в едва угадывающиеся там кусты. Кусты – не иначе, как спьяну – показались мне слишком хлипкими, чтобы скрыть мою наготу, и я решил зайти поглубже. Вскоре я обнаружил под ногами узкую, в прошлом веке заасфальтированную дорожку, о существовании которой можно было догадаться лишь по тусклому блеску фонарей в лужах. Слева маячила белая стена недавно окрашенной пятиэтажки. Кусты везде были очень низкие, и ни одного приличного дерева. Это вовсе не соответствовало общему впечатлению старого спального района. Словно здесь года два назад потрудились бульдозеры, а потом сажала заново неумелая рука. Но как же тогда уцелела дорожка?

Я шёл вперёд медленно, как сомнамбула, и уже почти забыл зачем шёл. Только взгляд назад и долгое созерцание противно-сероватых вертикальных теней в мутно освещающемся аквариуме слегка меня отрезвило, но и вызвало тошноту. Я понял, что мне предстоит туда вернуться и ехать... Если повезёт.

Вдруг я задел нечто левым бедром. Приглядевшись, я увидел кресло. Вернее – что-то среднее между стулом и креслом, стул с мягким сидением и приделанными по бокам деревянными поручнями. Сделан он был не иначе, как в на-

чале прошлого века – почти антиквариат. На вид – весьма шаткий. Странно ещё, что он не упал, когда я его толкнул.

Впереди же, тоже слева, ближе к маячащему дому, за тёмными невысокими кустами, слышны были какие-то движения и позвякивание монет в кармане. Молодой бандитский мужской голос сообщал нечто женскому блядскому. Несмотря на небольшое расстояние, я почему-то не мог разглядеть там ни самих людей, ни понять, о чём они собственно разговаривают.

Я предположил, что обо мне. Наверное – это была чистой воды паранойя. Но зачем они там прячутся, в таком неудобном месте? Кажется, там нет подъезда. Может быть е... Нет, они хотят меня убить и ограбить – предчувствия меня редко обманывают. Вот – затаились и молчат. Вот – опять что-то звякнуло у него в кармане, она – хохотнула.

Идти дальше мне не хотелось. Всё более тормозясь, я замер наконец, как муха в сгущающемся янтаре. Я очень устал – трудно, но необходимо было повернуть назад. На удивление сильно хотелось сесть в кресло. Даже больше, чем пописать. Оборачиваясь сто лет, я всё-таки обернулся.

Сзади уродливо шумели невидимые враги. Впереди справа светились, точно флуоресцировало, заманчивое кресло, слева темнели кусты. На этот раз они показались мне вполне достаточными. Остановки отсюда уже совсем не было видно.

Кресло светилось крайне притягательно и подозрительно – такой неуёмный зов – сядь в меня! Нужно было идти в ку-

сты, влево, чтобы пописать. Враги опять настороженно молчали. Я стал прислушиваться, до звона в ушах. За этими по- мехами я рисковал пропустить *их* шаги.

Если сяду в кресло, то наверняка усну и буду обворован и убит. Но зачем *им* меня убивать, если можно обобрать спящего? Да есть ли *что* у меня отбирать? Не могу вспомнить, нет сил, чтобы похлопать себя по карманам. Нет ни силы, ни духа, чтобы повернуться к врагу лицом. Крикнуть бы *им* что-нибудь – но язык пристыл к глотке. Глаза слипаются, и даже невозможно расстегнуть ширинку. Кресло справа манит, но кусты всё ближе, хотя сам я уже не двигаюсь. Ближе их – темнота. Непроницаемая. На две-три секунды мною овладевает паника. Света совсем больше не видно. Всё плывёт куда-то влево, в беспросветную ночь. Я даже не знаю, падаю я или нет – кажется, нет... Да!.. Но даже страх покидает мои обессиленные плечи. Я отпускаю себя и теряю сознание.

Sex

«Становится липко, зябко. Последствия не очень прият- ные...»

Д.Дэжойс

Темнота, под покровом которой я – неизвестно как долго – находился, оказалась всего-навсего грубым и тёмным шерстяным одеялом. Не помню, что' было до того, но, если

сравнивать на ощупь с пустотой, это всё-таки была приятная трансформация.

Я тут спал. А иначе – что я тут делал? Этот вопрос заставил меня обратить внимание на эстетику телесного низа. Что-то там происходило, шевелилось. Я давно запустил этот вопрос, попеременно обращаясь то к мастурбации, то к сублимации. Но вот назрели перемены. Как всегда внезапные.

Слева, во тьме, не такой уж беспощадной, если как следует разуть глаза, кто-то угадывался. И посредством не то зрения, не то умозаключения, я вскоре убедился, что это особы женского пола. Именно особы – их было три. Лежали они на почтительном расстоянии от меня, т.е. мы не соприкасались. Одному Богу известно, как мы все умещались на такой узкой кровати!

Поняв и оценив своё положение, я стал подумывать, отчего бы собственно мне не познакомиться ближе с имеющими быть рядом особами. Я знал, что они достаточно молоды, кожей белы и в общем-то положительно ко мне относятся. Все мы – и я, и они – под тонким, протёртым одеялом без пододеяльника были голыми. Я даже местами слегка подмерзал. Отчего бы нам хотя бы не прижаться друг к другу, чтобы, по крайней мере, удобнее сохранять тепло?

Девицы, ни одной из которых не было более двадцати лет, словно дожидались, пока я проснусь и соображу что к чему. Что-то такое должно было случиться. И случилось. Порядком потомив меня, уже несколько возбуждённого и наце-

ливающегося на определённую, они наконец выделили мне одну из своей среды.

Две остальные как бы выдавили эту третью из щели между ними. Поняв, как они там плотно слеплены на краю кровати, я почти перестал удивляться комфорту, с которым расположился.

Дамы соблюдали какой-то неведомый мне, почти пуританский, этикет. Девушка выделялась мне, если не в жёны, то как дар вежливости, вроде женщины на ночь гостю в каком-нибудь дикарском доме. Почему они все три не могли участвовать в этом, и, если не могли, зачем тут валялись – было совершенно непонятно. Я удовлетворился тем, что вот такой у них здесь (где здесь?) ритуал, и ничего не подделаешь...

«Ладно, – подумал я, – мне и одной хватит», пока отряженная девушка, короткая, но не лёгкая, переваливалась через мой бок. Интересно, какая это была сестра, младшая, старшая или средняя? В каждом из трёх случаев могла быть соблюдена особая определённая (А чего я так жаждал?). В любом случае – своя симметрия.

Мне было в общем всё равно – девки все молодые. Одна из них теперь оказалась справа от меня, почти на мне, так что я, приобняв её под спину, мог ощупать её живот. Две другие смотрели на нас широко раскрытыми глазами, изредка хлопая ресницами, – этот звук был особенно отчётлив. Они то ли просто любопытствовали, то ли продолжали участвовать

в ритуале и ждали той самой *определённости*.

А мне, честно говоря, было лень. Я ещё не совсем выспался, не совсем пришёл в себя. Да и живот этот... Девки смотрели на меня с лёгкими улыбками, но без напряжения. Может, те две получше?

Под рукой у меня находилась, покрытая хоть гладкой, но толстой и холодной кожей, мощная складка жира. Не было даже тонкой пуховой растекаемости, свойственной животам некоторых пожилых толстых женщин. Какой-то оковалок – словно внутри там не текучее сало, а замороженное в холодильнике масло. А кожа была толщиной не меньше чем 2, а то и 3 миллиметра. Как вы думаете, приятно щупать такой животик?

Но сёстры чего-то от меня ждали. Мне было неудобно отказывать им вот так, вдруг. В конце концов, я почти удобно лежал на кровати, почти выспался здесь. Возможно они меня – подобрали, обогрели. Отказаться от их подарка теперь – разве это не выглядело бы чёрной неблагодарностью? Встать и бежать? Но куда? Я понятия не имел.

Не было у меня никакой определённой цели. Я только что вернулся в этот мир, и сразу же получил во владение сексуальный объект. Дарёному коню в зубы не смотрят... А вот брюхо – брюхо, интересно, можно у него проверить? Мне даже страшно было опускать руку ниже. Моя рука так и замерла, полузажав в ладони могучую прохладную складку, скорее даже какую-то угловатую, чем округлую.

Девки смотрели на меня и ждали, но не волновались. Выражение их лиц не менялось. Может, всё шло как надо? По их плану? Куда торопиться? Я улыбнулся им. Они заметно не среагировали, чуть-чуть только потупились. Я потянулся, аккуратно, чтобы не спихнуть свою партнёршу справа. Если они сёстры – наверно все такие, хотя... Я принял соломоново решение. Мне ещё хочется спать? Вот и славно. Надо просто закрыть глаза, прижать к себе покрепче эту холодноватую пигалицу – хорошо ещё, что от неё ничем не пахнет! – и баиньки. Утро вечера мудренее, человек умнее. Может, на свету она окажется и не такой отвратительной? Хотя – странное предположение – что это у меня такое иначе под рукой? Всю эрекцию как ветром сдуло. Покой, покой! Я делаю усилие, чтобы провалиться, и вспоминаю, что для этого как раз не надо делать никаких усилий. Ещё разок виновато оборачиваюсь к левым девкам. Они всё так же смотрят – вот пробки! И засыпаю. Только ещё правой рукой некоторое время чувствую, как она затекла, – сестрёнка попалась тяжёленькая.

Просыпаюсь я на углу некоего зелёного поля. Подо мной выдавшая виды подстилка. Возможно, то самое одеяло, под которым я «развлекался» с девками.

Я отдыхаю в санатории (Давно пора!). И хожу сюда загорать. Почему именно сюда – не ясно, довольно неудобное место. Вдоль полей всегда какие-нибудь дороги. И здесь такая имеется. По дороге же нет-нет да кто-нибудь и пройдёт.

Так что, если я ищу здесь одиночества, то скорее всего напрасно. Уж лучше бы спрятался за кусты, которые слева. Но за кустами, может быть, ещё одно поле, а перед ним – дорога.

И если уж я загораю здесь один, почему я не снимаю трусов? Слишком много вопросов – надо расслабиться и впитывать кожей солнце. Но как только начинаешь расслабляться – начинаешь досадовать. То мухи мешают, то лежишь неудобно – камни какие-то под подстилкой – ну ясное дело, дорожку-то трактор торил.

Я лежу на животе. Вдруг надо мною сзади возникает существо женского пола. Так я и знал, что на свету оно может оказаться гораздо более соблазнительным.

Те трое были не больно-то хорошенькие, хотя и отличались изрядной молодостью, которая нас, стариков, всегда влечёт. Они все были низкорослые. Эта же – вытянутых пропорций, хотя и не так молода. И хотя я не самый большой охотник до длинных женщин – трудно было сразу заметить в ней какой-нибудь серьёзный изъян. К тому же – она молчала, и, может быть, это спасало всё.

К тому же – у неё были красивые руки, с правильными пальцами и аккуратно, но не броско отделанными ногтями. А у, давеча мне подсунутой, молодухи была скорее не ручка, а лапка – пухлая, потненькая и липкая, с пальчиками коротюсинькими, будто обрубленными, и почти без ногтей. Подержавшись за одну такую ручку, навсегда расхочешь иметь в жизни какую бы то ни было женщину.

Но *эта* меня вдохновляла. Почти. Я всё никак не мог отделаться от своей усталости и сна. Что это на неё нашло? Издалека, что ли, заметила меня? Что ж, бывает и такое. Мне повезло. Баба что надо.

На ней был ярко-розовый, почти лиловый купальник. Лифчик без лямок, собранный соразмерными складками между грудей, и трусики, скорее напоминающие маленькие шорты, однако, очень сексуальные. И хотя, как я уже говорил, это был не мой тип, она мне понравилась. Что касается её намерений, тут, несмотря на её молчание, а вернее благодаря ему, не оставалось никаких сомнений. Но возникла помеха. Вдалеке, за спиной дамы, сквозь шорох колыхающейся травы и веток, я расслышал какое-то детское лopotание. Ребёнок? Ну, точно – её.

Я поднял глаза. Дама виновато улыбнулась. Лет 25, не больше. А девочке... Или это был мальчик? Нет, девочка. Девочке – 3 или 4.

М-да... Ну и что тут прикажете делать? Почти не обращая внимания на своё неумолимо приближающее дитя, женщина расположилась рядом со мной на подстилке, грациозно переступив через моё уже успевшее подгореть тело.

Ребёнок о чём-то бормотал в траве. Он не дошёл до нас метров 20-30-ти и чем-то там увлёкся, бабочкой или жуком. Дама, воспользовавшись этой заминкой, стянула с себя трусики. Если бы и после этого я не прижал её поближе к себе и не сделал бы то, что должен был сделать, – что бы вы обо

мне подумали?

Я держал её одной рукой за горячее загорелое плечо, а другой старался засунуть куда надо свой член, в котором я был не до конца уверен. Дело в том, что я его как-то давно не видел. И не ощущал. Есть ли он там? Хотя иногда, именно при сильной эрекции, член вроде как бы теряет чувствительность. Стоит – в прямом смысле – как дерево.

Что-то там у меня всё-таки было, ибо что-то я сумел нащупать пальцами. И у неё видимо что-то было – куда-то я сунул, хотя опять-таки ничего не почувствовал. Да и она не выражала бурных эмоций. Но тут было объяснение – близость ребёнка. Уж он наверняка прибежит узнать в чём дело, если мама начнёт стонать на всю Ивановскую.

Я поделал полагающиеся движения. Прислушался – девочка уже колупалась в соломе где-то совсем поблизости. Но бормотала она себе что-то под нос, не особенно адресуясь к маме, а уж тем более ко мне. Может быть, ей не впервой? Как, в конце концов, даме пофлиртовать на природе, если хочется, а дитё девать некуда? Моральные соображения как-то не приходили мне в голову. Я, конечно, немного стеснялся, но – очень хотелось...

Погоди, но если очень хочется, почему я тогда... Надо проверить визуально. Я заставляю свою даму немного приподняться, не вынимая при этом предполагаемого жезла. Она с готовностью полуприсяживает. Я пытаюсь что-нибудь рассмотреть. И вижу, очень даже. Этаким острым буго-

рок у неё на животе, под пупком. Неужели это мой сучок? Ей не больно? Она молчит и ждёт наверно, когда я продолжу. Что-то у неё не в порядке со внутренним строением. Или она мазохистка? Я раньше как-то считал – да и не раз убеждался в этом – что у женщин на лобке вполне достаточный слой приятно плотного, тёплого сала, к тому же прикрытый шубкой из шелковистых волос. А тут... Волосы, правда, есть – те, что остались после усердной работы бритвой. Но не скоблила же она себя изнутри?!

Несмотря на мои размышления, выпуклость на коже живота женщины не пропадает, а значит, не пропадает и эрекция. Получается какой-то чисто умозрительный секс. Продолжать или... Да и ребёнок уже чуть ли ни дышит мне сзади в ухо.

Невероятная глупость ситуации вызывает у меня уныние. Но она же способна вызвать истерический хохот. Я смотрю на солнце, чтобы не видеть ничего другого. Я жажду раствориться в слепящих лучах. Я стараюсь не зажмуривать глаз, хотя это невозможно. Расплавленное золото затопляет мои слезящиеся и словно дымящиеся зрачки. Я перестаю что-либо видеть кроме пульсирующего кровавого месива. Может быть, это оргазм?

Кино

«Весь фильм в вас самом, проектор за вашим сознани-

ем...»

Ошо

Как я уже сказал, мне пора было отдохнуть. Лес с правой стороны от дороги, по которой мы ехали, на первый взгляд говорил именно об этом, т.е. о том, что я, наконец, отдыхаю. Местность была явно сельская, время майское или около того. Припахивало далёкой скотофермой и рекой.

Мы с другом сидели в открытом кузове большого грузовика. Друг прислонился спиной к бортику, непосредственно сзади кабины, а я сидел перед ним по-турецки на каких-то старых спущенных камерах.

Нас снимали в кино. Вернее, в данный момент как раз не снимали. Эта сцена всё не получалась, казалось режиссеру слишком натуральной. Что поделаешь – мы ведь не были профессиональными актёрами.

Нам всего-навсего требовалось разговаривать друг с другом на тему, на которую мы чаще всего в обычной жизни и разговаривали, т.е. обсуждать наши дела. Друг писал музыку, а я тексты. Но что-то не заладилось. Никак мы не могли расслабиться. А когда расслаблялись и напрочь забывали о режиссере, это его тоже не устраивало. Нам же обоим всё более становилось ясно, что он сам не знает, чего хочет. А время шло, деньги тоже шли – впрочем, это были не наши деньги. Нам только было досадно, что вместо того, чтобы отправиться на речку или в лес по грибы, мы должны удовле-

творять этого нудного болвана.

Ну, положим, он был не совсем болван. Довольно известный режиссер. Молодой да ранний. Измучившись с нами с утра, он решил предоставить нам свободу, т.е. чтобы мы сами порепетировали – не под надзором неусыпного ока кинокамеры. Это – конечно, была непозволительная роскошь, имея в виду бюджет и всё такое. Но наш шеф любил почудить. Может быть, за это я его больше всего и уважал. А нам чего? Катайся себе в кузове в живописной обстановке.

Как только съёмочная группа скрылась за поворотом, мы молча решили, что больше не будем говорить. Оттуда не видно, а языки устали – их надо беречь. Мы только указывали друг другу взглядами на красоты природы.

Хорошо, что нашему дураку понадобилось снимать на ходу. Иначе фиг бы он дал нам покататься. Даже сквозь гул мотора можно было расслышать, как поют птицы. Даже сквозь бензиновые миазмы можно было учуять аромат едва распустившихся берёзовых почек.

Было тепло, по-летнему. В том, что о нас решили снять фильм, мы не находили ничего удивительного. Но вот почему мы должны были рассуждать на наши любимые музыкально-философские темы, мотаясь и прыгая на колдобинах в кузове грузовика, – это надо спросить режиссера.

Впрочем, отъехали мы ещё совсем немного, а я уже начал подозревать нечто неладное. Уж слишком легко он нас отпустил в «свободное плавание». И бензина-то не пожалел...

– Послушай, – спросил я друга, – там кто-нибудь есть?

– Где? – спросил он, обернувшись к кабине.

Мы оба напряглись, но машина поворачивала и даже вроде бы притормаживала в нужных местах. Благо, дорога была почти прямая.

Друг мой почесал за ухом и посмотрел на небо. Я тоже посмотрел и ничего там не увидел. Правда, облака были приятные. Тут произошло то, что должно было произойти. Вместо того чтобы повернуть в начале встретившейся деревни направо, наш экипаж врезался в могучий вяз, росший на углу чьего-то, огороженного ветхой оградой, участка.

Нас тряхнуло, но не так сильно, чтобы мы вылетели из кузова или хотя бы разбили зубы. Всё-таки как-то затормозили. Может, он там пьяный?

– Ты видел, чтобы кто-нибудь туда садился?

Друг пожал плечами. Машина надрывно редела, бодаясь с невозмутимым древесным великаном. Если бы не он, мы бы уже перепахали в этом палисаднике все грядки и въехали в дом – здравствуйте, не ждали?!

К нам подбежали какие-то доброжелатели или наоборот. Мы расправили затёкшие ноги и прыгнули на землю. Она тут была коричневая и кое-где посыпана нежно-оранжевой опалью лиственницы.

– Ты умеешь водить?! – постарался я перекрыть рёв мотора.

Друг полез в кабину. Доброжелатели – хоть их и было не

больше двух – столпились позади, потирая руки. Я посмотрел на них, плюнул и полез вслед за другом.

Нам удалось нажать на тормоз, и стронуть машину назад задним ходом, чуть не задавив надрывающихся от жестикуляций советчиков. Славно это у нас получилось или бесславно – но как-то мы поехали вперёд. Можно было даже не давить на газ, дорога всё шла под горку. Я с облегчением вздохнул, когда участливые мужики в бейсболках скрылись за поворотом.

Огляделся кругом. Мы уже были в городе Р. Вот как быстро доехали! Да и чего удивляться – тут каких-нибудь полтора километра, т.е. от съёмочной группы.

Раз уж мы сюда приехали – отчего бы не прогуляться, не размять ноги? Вернёмся – глядишь, режиссер на нас так насядет, что не продохнёшь. И не видать нам Р., как своих ушей.

Но друг, кажется, был не совсем со мною согласен. Он не до такой степени, как я, любил гулять и боялся попусту тратить время.

Дорога к центру города Р. теперь устремлялась вверх. Мы притулили машину справа от начинающейся улицы. А слева – начинался и тянулся в гору, сколько хватало глаз, жёлтый-прежёлтый дом. Почти без окон, вернее – с узкими и редкими глазками-бойницами. За горой же, справа, угадывалась река. Город был на редкость безлюден и почти без машин.

Мне вовсе не хотелось отсюда куда-либо спешить. Друг мой остался у машины, нехотя отпустив меня на короткую прогулку, – сам же он лезть в гору отказался наотрез. Я, правда, тоже не альпинист. Но именно здесь и сейчас мною овладел какой-то энтузиазм. Морда моя так и расплывалась в улыбке.

Отчасти, это объяснялось тем, что окружающие места были мне знакомы с детства. Всё здесь, конечно, с тех пор сильно изменилось. Я узнавал и не узнавал – и в этом был весьма своеобразный кайф.

Было и ещё одно толстое обстоятельство. Совсем недавно в одном из не очень серьёзных журналов я прочёл о том, что в Подмоскowie замечены летающие лягушки. Статья была крайне бестолкова, написана не специалистом – так что, скорее всего, это была утка (а не лягушка). Но что-то в ней взволновало меня. Я стал вспоминать, даже кинулся к справочной литературе, но поблизости не сумел обнаружить ничего путного. В библиотеку брести было лень. Единственное, что я вспомнил, это то, что действительно есть какие-то так называемые летающие лягушки или кваквы (может, кряквы?), которые собственно не летают, а планируют с ветки на ветку, как летяги, используя для этого растопыренные перепонки на руках и ногах.

Нечто подобное я и ожидал здесь увидеть. Почему бы нет? Климат меняется в тёплую сторону. Конечно, человек всё вокруг засирает. Но некоторые виды от этого только выигрыва-

ют. Иногда – вовсе неожиданные. Отчего бы – не оказаться в их числе летающим лягушкам? А может, они уже мутировали и научились летать по-настоящему? Так я рассуждал.

Кряквы (кваквы?) к тому же красивы, т.е. имеют на брюшке желтые или красные разводы. Тут уже получается целая райская птичка. И поёт. Никогда вот правда не слышал, как поёт кваква.

Друг мой был недоволен моей отлучкой, не совсем безосновательно виня меня в сердце своём за непростительное фантазёрство.

А я уже узрел то, что хотел. Кто-то летал в воздухе. Это были птицы, множество птиц. С розовым оттенком. Хотя возможно, это происходило от надвигающегося заката. Я уже нафантазировал себе и чаек, и пеликанов, и попугайчиков. И вот – воочию увидел лягушек среди этих стай. Они были темнее прочих и редко-редко махали лапками, вися в воздухе почти неподвижно и вертикально, развернутые спинками ко мне, а носами – в сторону уходящего солнца. И не галдели они как птицы, а нежно пели: ква, ква, ква! Но этого – не передать словами!

Я хотел позвать композитора-друга послушать, но он и сам уже всё увидел и услышал. Созерцая меня на расстоянии, он красноречиво крутил указательным пальцем у своего седеющего виска. Наверное, выражение на моём лице достигло опасных пределов блаженства. Птиче-лягушачий галдёж звал меня куда-то ещё наверх, в убегающую даль, к реч-

ке, неведомо куда...

С правого бока, чуть в стороне, тянулся глухой дощатый забор, довольно новый, любовно выкрашенный тёмной морилкой. Возле этого забора стояло несколько рыболовов со спиннингами. Тут вспомнилось, что и я, узнав, куда мы едем, прихватил с собой на съёмки спиннинг, специально купил, хотя с самого детства ни разу не ловил никакой рыбы. Теперь он мог пригодиться. И какой же я был молодец, когда предусмотрительно кинул его под сиденье в кабине грузовика!

Я вернулся к машине, и друг мой с облегчением засобирался, думая, что и я уже готов ехать. Но я разочаровал его, начав рыться под сидением. Он не понимал, что я там потерял. Терпя стоически его иронические взоры, я, наконец-то, выудил из-под стула своё, телескопически сложенное в метровую тросточку, удило.

– Хочешь, пойдём поудим? Ты вроде умеешь... – предложил я другу для очистки совести.

Но он скептически помотал головой. Ясное дело, он видел отсюда лишь часть забора, а что там, за забором, не понимал. Я же, глядя на остальных рыбаков, на ходу перенимал их тактику и стратегию.

Червяков они выкапывали здесь же, чуть ли ни у себя из-под ног. И, насадив наживку на крючок, закидывали удочки (т.е. спиннинги) за забор, как можно подальше. В том, что где-то там, за забором и под горой, протекала река, можно было не сомневаться, хотя бы потому, что время от време-

ни то один, то другой из удильщиков наматывал на катушку длиннющую леску и возвращал из-за забора конец удила с поблескивающей под ним, точно новая монета, небольшой серебристой рыбкой.

Такой способ лова, разумеется, был мне в диковинку, но именно эта странность заставила меня попробовать свои силы, так как я люблю всё неординарное и необычное. Рыбаки, ловящие вслепую, вызывали моё уважение.

Рыба, правда, была мелкая и, в основном её тут же съедали вертящиеся под ногами, предупредительно мяукавшие, кошки. Но на это никто не обращал внимания, все были увлечены делом. Делом жизни. Прямо – как наш режиссер.

Я закинул свою удочку (т.е. спиннинг). И – о чудо! – первый же бросок оказался удачным. Я даже расслышал, как грузило плюхнулось в воду. Скоро торкнуло. Соседние рыбаки стали указывать подбородками и бровями: мол, тяни. Я стал судорожно наматывать на барабан скрипящую леску. И вот уже скользкая красноглазая плотвичка – трепыхается в моей руке. Я не знал, что с ней делать, и скормил ближайшему коту.

Скоро ты там?! – раздражённо позвал друг.

Я начал спускаться к нему с горы, ещё ощущая на ладони слизь и чешую только что выловленной рыбы. Сильно пахло рекой. Оказавшаяся теперь позади, половина неба окончательно покраснела от заката. Всё это – словно меня загнипотизировало.

Когда я спустился, друг ударил меня по плечу:
– Эй! – заглянул он мне, как психиатр, в глаза.

Мы сели в машину и поехали. Не помню, кто вёл – неважно. Очевидно было, что этот съёмочный день уже безвозвратно потерян. Я обернулся и ещё раз посмотрел на летающих лягушек. Наверное, их тоже можно поймать на спиннинг. Наверное, всё-таки вёл не я.

Кафка

«Повсюду будет серый сумеречный свет, днём и ночью, во все времена...»

Бардо Тёдол

А вы знаете, что мать Кафки, уже после его смерти, написала роман, хотя и весьма небольшого объёма, в котором умирает она, а не сын, и она затем является сыну в виде призрака.

Об этом, в свою очередь, написала исследование одна дама, моя современница. Вообще-то, она зарабатывала на жизнь писанием детективных романов, а ещё более того – торговлей. Вблизи дома, где я когда-то жил, у неё был небольшой магазин. Торговали там исключительно шляпами. Сначала она служила там директором, но скоро подкопила денег и сама стала хозяйкой.

У женщины этой был друг и любовник, один довольно бо-

гатый и известный грузин. Оба эти персонажа отличались некоторой приятной старомодностью и, где бы они ни находились – хоть в соседних домах, – постоянно вели между собой переписку. Эта переписка тоже опубликована, разумеется, далеко не полностью и с купюрами.

Из этих писем, а также из уже упомянутого специального исследования писательницы, мы можем узнать, что её в первую очередь интересовала не личность Кафки и не его произведения, и даже не личность его матери, а только тот образ, в котором она после смерти – как это описывалось в указанном выше романе – вернулась к сыну.

Дело в том, что призрак этот, призрак матери – а не отца, как у Гамлета – имел некоторые языческие, а конкретнее, античные черты. В своей работе писательница отнюдь не бесосновательно проводит параллель с представлением о Флоре, Артемиде и других богинях и героинях древнегреческих и древнеримских мифов.

В общем-то истины, которые сообщала сыну не существующая во плоти мать, были достаточно банальны. Естественно, творчество матери не идёт ни в какое сравнение с творчеством сына. Однако именно она произвела его на свет, и это даёт ей право, как всякой матери, считать – хотя бы отчасти – дитя своей собственностью. Разумеется, сын должен прислушиваться к материнским поучениям, особенно, если мать специально навестила его даже после смерти.

Может быть, случись таковое на самом деле, она смогла

бы предостеречь его от некоторых ошибок, в конечном счёте поведших к болезни и смерти? Но если бы он так уж предостерегался – написал бы он тогда то, что написал? Это вечная дилемма, вечная история между матерью и сыном. Мать хочет спасти и сохранить ребёнка, провидя его трагическое будущее. Но решает не только мать.

Так вот, призрак был не обычен уже тем, что не имел лица. Т.е. диалоги с сыном вело не целое изображение человека, а – если так можно выразиться – только его бюст. Тут напрашивается аналогия с японскими квайданами, в которых привидения зачастую изображались лишёнными ног, в чём и было их видимое отличие от настоящих людей.

Но, если у японцев ноги иногда заменял дым или нечто неосязаемое и бесформенное в этом роде, то в разбираемом романе бюст был снабжён как бы провисающим книзу венком, этакой растительной виньеткой, которая, однако, простиралась никак не ниже предполагаемой талии.

Т.е. мать вещала сыну, как бы выплывая из кустов или из стога свежескошенного сена, с той только разницей, что эти флористические украшения у неё всегда имелись с собой как неизменные атрибуты.

Отчего мать Кафки выбрала для своего призрака именно такой странный облик – остаётся загадкой. Именно эту загадку и силилась разрешить, очарованная её несуразностью, писательница. Грузин, весьма интеллигентного полёта человек, подсказывал ей, что, вероятнее всего, корни данного

явления следует искать в Эдиповом комплексе. Разумеется, предосудительно и глупо всё сводить и выводить из постулатов фрейдизма. Но, будучи для сына первой женщиной уже самим фактом своего существования, мать, даже после смерти, хотела бы соблюсти телесную неприкосновенность и чистоту. Там, ниже кормящей груди, конечно же, что-то есть, но это что-то целомудренно скрывается в куцах невинного растительного царства. Фрейд бы не преминул назвать такую юбку цензурой. А я, как острослов, даже склонен назвать её фиговым листком.

Сама же писательница полагала, что интересы матери скорее лежали не в сфере подавленной сексуальности, а в сфере, так сказать, близкой к Танатосу. Имеется в виду самый обычный архетип прорастания, возобновления жизни весной, который наиболее зримо иллюстрируется именно восстанием зелёных великанов из праха, из почти не видимых глазу семян. «Если семя не умрёт...». Т.е. призрак матери в таком образе получал недостающую любому видению основательность, те самые корни, которые выводили его на свет. А не терял бюст своей растительной бороды потому, что должен был вновь приземлиться и укрепиться. И через корни – вернуться во прах.

Весьма сомнительная теория, но красивая. Тут вспоминается и омфал Диониса и происхождение чернозёмов, а более всего – разнообразные библейские притчи. Сойдемся на том, что мать уже, как подобает растению, принесла свой плод. И

плод оказался весьма достойный. «Судите о дереве по плодам его...».

Я вспомнил о шляпнице и её милым друге, когда переезжал на новое место. Переезд мой поневоле должен был быть стремительным. Новые жильцы, желающие занять мою старую квартиру, буквально стояли уже на пороге. И я сбивал каблуки, бегая то на пятый этаж, то с пятого. Лифт недавно поставили, но он ещё, как водится, не работал.

Однако мне было весело, когда я в очередной раз пронёсся со своими пожитками мимо знакомой витрины. Что-то она совсем забросила своё дело, или не в меру углубилась в романы, или стала прибаливать – пожилая уже женщина. Прилавок поразил меня своей бедностью – однообразные и серые женские шляпки вряд ли могли привлечь чьё-то внимание. К тому же, фасад магазина выходил не на улицу, а во двор. Трудно было поверить, что когда-то торговля тут процветала. Но я помнил эти времена.

Грузин подолгу жил в Москве, на той же улице, только двумя кварталами дальше от центра. Почти каждую неделю я видел его машину у крыльца магазина. Он был очень галантен, часто привозил букеты. Пешком, похоже, совсем не ходил. Но почти не толстел – хорошая конституция. У дамы тоже была хорошая фигура, только вот с возрастом она начала одеваться как-то всё более и более блёкло. Грузину, наверное, это не нравилось, но он не подавал вида.

Мне подумалось, что вот и она стала сознательно, или ско-

рее бессознательно, играть во Флору. Осенью листьям положено желтеть, блёкнуть. Почему она не хотела быть, например, клёном? Не от того ли, что клён – мужского рода?

Все эти наивные радости богатых людей не вызывали моей классовой ненависти. Да и были ли они столь богаты?

Лихорадка переселения целиком захватила меня, но всякий раз, пробегая мимо шляп, я вспоминал какой-нибудь маленький эпизод. Магазин, казалось, уже был закрыт. Экспонаты за стёклами пылились, как в музее. На некоторых крючках – ничего не было – это выглядело, как прискорбные щербины. Жива ли старушка? Жив ли её обожатель?

На душе становилось грустно, но и тепло. В конце концов, все мы должны стариться и умирать, любя друг друга.

Пока я не обрёл более-менее постоянного пристанища, мне пришлось жить в довольно странных домах. И этот дом, рядом со шляпницей, не являлся исключением. Дело в том, что это был как бы дом в доме, выстроенном по новому проекту, пятиэтажка – внутри нарастающего гипермодного гиганта.

Мне всё как-то было раньше недосуг, но однажды вечером я вышел на лестничную клетку, чтобы проверить, как идут дела у строителей.

Вместо чердака моему взору открылось уводящее в даль пространство, некий коридор, попасть в который можно было, взобравшись на небольшой бетонный уступ, как на подоконник. Наверное, в недалёком будущем здесь примостят

ступеньки. Рискаю испачкаться строительной пылью и мусором, я влез на возвышение. Назначение коридора представлялось мне совершенно непонятным. Это была то ли какая-то мощная вентиляционная система, то ли нечто связанное с электричеством. Опасаясь, что меня таки ударит током, но не в силах превозмочь нахлынувшее любопытство, я двинулся вперёд. Благо, никаких предостерегающих надписей видно не было, да и публики, которой возможно пришлось бы что-то объяснять, не было заметно.

Как полагается, бетонный коридор был весьма гулким. Шаги отдавались в стенах и сводах вместе с хрустом раздавливаемых кусков штукатурки. Когда-нибудь стены отделают кафелем, а потолок пластиковыми плитками, а то и зеркалами. Впрочем, может быть, это помещение всё-таки имеет только чисто техническое назначение?

Сверху свешивались какие-то жестяные ленточки, они больше всего напоминали серебристый дождь, каким украшают ёлки. Похоже было, что их привязали за оставленные торчащими из потолка концы арматуры. Эти потолочные торчки намекали на какой-то шахматный порядок. Серебряный гибкий частокол свисал аккуратно до самого пола, но не ниже, т.е. едва чиркал, но не волочился по нему. Все эти Вероникины волосы время от времени ходили волнами. Их движения не были хаотичными, в них заключался ритм. Но я никак не мог уразуметь, чем он вызван – ветром ли, который устремлялся навстречу мне из невидимого конца ко-

ридора или статическим электричеством, стекающим сюда с плоскости крыши. Судя по характерному потрескиванию, я больше склонялся ко второй гипотезе.

Шуршащие ленты начинались не сразу, а метрах в пяти от входа в туннель. Я сперва опасался к ним прикасаться. Они казались слишком наэлектризованными. Но очередная волна так сильно подбросила ближайшую ко мне серебряную змею, что она сама «укусила» меня за палец. Раздался щелчок, но боли я не почувствовал, вернее, почти не почувствовал. Можно было идти – на свой страх и риск.

Я шёл, то и дело ощущая лёгкие уколы от колыхающихся и приникающих ко мне полос. Иные же, так же как я заряженные, отшатывались от меня, точно в испуге. Всё вокруг шипело и щебетало, словно лес, полный пресмыкающихся и соловьёв. Волосы на голове стояли дыбом, отклоняясь – как привязанная игла под действием магнита – то в одну, то в другую сторону. Было страшновато, но и здорово – электричество действовало возбуждающе.

Зря я тепло оделся – здесь и так было тепло, даже жарковато. Сквозняк, дувший навстречу, наверняка был спровоцирован какими-то кондиционерами. Ещё меня порадовало, что никто не успел оставить здесь куч. Запахи были почти стерильными, если не считать цементной пыли. Ну и озон конечно! Голова слегка кружилась, нос пощипывало.

Коридор шёл не совсем прямо, он лёгкой дугой заворачивал налево. Пол начал понемногу спускаться вниз. Я вдруг

испугался поскользнуться. Висевшие змеи кончились, а впереди уже был хорошо виден яркий люминесцентный свет. Редкие тускловатые лампы остались позади.

Я прошёл ещё метров тридцать и остановился. Тут начинался устеленный гранитными плитами пол. Недалеко маячили стеклянные двери. Всё выглядело почти шикарно. За дверями угадывались даже люди в форме. Неужели уже швейцары? Однако, неустроенность, вернее нестроенность ещё была превалирующим качеством этого видения – серые бетонные стены.

Я разглядел впереди слева вывеску парикмахерской и даже выглядывающий оттуда фен – чтобы сушить женскую голову. Запахло парфюмерией. Я улыбнулся. Как быстро они всё тут обживают! А вот мне – уже пора отсюда.

А то ведь можно было бы ходить в магазин, не выходя из дома. Наверное, на то и рассчитано. И парикмахерская, и всё такое. У меня, правда, волосы плохо растут. Супермаркет, не иначе, и очень большой, тут строят. Наверное, самообслуживание – это я не люблю. Для очень богатых – они и будут здесь жить. Пусть живут. Мне как-то холодно от этого дурацкого блеска. К чему?

Я иду назад. Ветер, дующий в спину, становится прохладным. Всё-таки не зря я оделся. Полосы шуршат как ивовые ветви, скользя по моему лицу, но уже не бьют электричеством. Разрядились на время. Тут, скорее всего, всё работает, как холодильник, – то работает, то не работает.

Только в самом конце дороги включается опять, и я, выйдя под голый потолок, отлепляю от рук приставучие серебряные дождины. Грустно улыбаюсь – почти как царь Соломон.

И ещё я жил в одном доме. Это было и того раньше. На окраине, да уже и не на окраине. Но как-то забыли про нас, вернее про тот дом, и ещё не успели его к тому времени снести. Собственно, необычным был не сам дом, а дворик, к нему примыкающий. О нём – вот чудо – словно никто и не знал. Даже бомжи и шпана сюда не забредали. И жили мы в городе – а словно в деревне – со своим огороженным двором. Правда, сада не было.

Двор был чисто хозяйственного назначения. Былые хозяева здесь занимались чем-то вроде слесарно-столярных работ. Так что сохранился верстак с огромными ржавыми тисками, которые даже самому жадному обывателю трудно было унести с собой. Сохранились бочки, железные и деревянные, и те и другие в продвинутой стадии разложения, какие-то куски шифера, фанеры, многочисленные доски, железки, арматурины, сетки, безнадёжно заляпанные замазкой оконные стёкла. Всё это в живописном беспорядке лежало стопками и валялось кучами по периметру овального двора, как бы подкрепляя и удерживая от падения сплошной, но подгнивший и покрывшийся плесенью, дощатый забор. Калитка держалась на одной петле, но её можно было плотно припереть, используя проволоку.

Когда-то здесь, похоже, пробовали разводить кур и кро-

ликов. Кое-где ещё можно было найти прилипший пух или окаменевшие шарики помёта. Клетки свидетельствовали о том же. Иногда в воздухе витал неистребимый животный запах. Хотя, наверное, прошло уже не менее десяти лет с тех пор, как последние обитатели этого бастиона были зарезаны.

Тогда к нам ходило очень много друзей. Зачастую, и даже чаще всего, если позволяла погода, располагались прямо на улице. Пили пиво, курили, веселились. Вот что значит – иметь двор, даже такой убитый, как этот.

Воспоминания о дворе и об убожестве быта тех времён вызывают у меня умиление. Мы почти не ели мяса, но не потому, что были вегетарианцами. Просто денег было мало.

Особенно здорово было зимой. Ранней зимой, когда весь мрачный и попахивающий тленом дворовый скарб присыпало свежим влажноватым снежком.

Я садился прямо на снег и смотрел в небо. В городское небо, в котором ничего не было видно. Только тучи, рождающие снег. Подсвеченные заревом огней, тучи. Я улыбался.

Само же помещение не выдерживало никакой критики. Половицы не то что скрипели, а хрипели под ногами, готовые вот-вот ухайдакать тебя в тартарары. Особенно мы опасались за ребёнка. Но он был лёгкий и танцевал на пьяных досках, как на трамплинах. Мы боялись, что он побежит за укатившимся клубком и угодит в какую-нибудь дыру. Он был маленький. У нас был также котёнок.

Очень плохо было с мебелью. Мы укрывали старье не ме-

нее старыми полурваными покрывалами. Простыни, правда, были чистыми. Я спал на каком-то сундуке. Мы не могли спать вместе с женой – было негде.

Но друзья ходили к нам, по двое, по трое... И всегда приходилось что поесть и выпить. Наверное – это и была моя молодость.

Запотевшие окна, ранние подъёмы, печальная улыбка жены, ребёнок на коленях, голубь в окне, котёнок...

Хлопья, хлопья, хлопья – валили за окнами что ни день. Зима была недолгой и сказочной. Несмотря на это, она всё никак не кончалась. Заскорузлые варежки отмокали на батарее, в щели дуло, мы затыкали их чем попало. Котёнок чихал. Ребёнок, правда, нет, он был закалённый.

На плите что-то подгорало. Пахло рыбьим жиром. И укусом. Но было здорово!

Я выходил и садился на снег – на какую-то картонку или фанеру, покрытую тонким снегом – и медитировал, как Будда, хотя в округе – насколько хватало глаз – не было никаких деревьев. Я медитировал на снег, пока какая-нибудь прилипшая к носу снежинка не отрезвляла меня. Я возвращался домой с мокрой рожей, смеясь. Всё мне было нипочём.

Весна

«Весны пословицы и скороговорки

По книгам зимним проползли...»

Весна наступала на московские тротуары, как тот самый «сумасшедший с бритвою в руке». Мой дядюшка, кстати, когда-то видел такого сумасшедшего. Он выбежал из парикмахерской на противоположенной стороне улицы и перерезал горло каждому, кто попадался ему под руку. Так он бежал, роняя на ходу прохожих – и уронил их человек 5-7 – до тех пор, пока один здоровенный и смелый мужчина ни изловчился и ни двинул его сзади по голове кирпичом. О дальнейшем развитии событий источники умалчивают.

Ранняя весна в Москве всегда напоминает мне о человеке, с которого содрали кожу, а новая ещё не успела нарасти. Может быть, и не всю кожу ободрали, а только верхний слой с лица – как это некогда было модно у молодящихся красавиц. Пройдёт недолгое время и сплошная лимфоточащая рана станет очаровательной розовой кожей, увы, опять-таки ненадолго.

Чувство открытости, неуюта, незащищённости, однако, давало шанс сделать какой-нибудь новый шаг в неведомое. За поворотом вас могло ждать всё что угодно – тот самый сумасшедший или прелестница со стоячими грудями третьего размера, которая, впрочем, на поверку тоже могла оказаться совершенно сумасшедшей.

Мосты стучали особенно нервно, вороны каркали так, что лопались барабанные перепонки. А уж лёд в водосточных

трубах обваливался с таким грохотом, что не оставалось никаких сомнений в надвигающемся конце света.

Мы, втроём, шли по улице, от периферии к центру. Я, моя жена и мой друг. Всего скорее, мы просто так вышли на прогулку – подышать этим сырым, будоражающим сознание и подсознание, воздухом.

Всё бы было ничего, если бы только не трупы на проезжей части. Сначала я заметил один. Подумал, что собака. Подойти ближе и рассматривать – как-то не удобно. К тому же движение было сильное, и я вполне мог лечь рядом жертвою своего непомерного любопытства. Труп был одет во что-то чёрное. Жена одёрнула меня, и я не полез ближе. А мой друг вообще и всегда бывал настроен слишком философски, ну разве что иногда ссорился с мамой, вместе с которой они проживали. Мы прошли мимо и за поворотом забыли о трупе. Мало ли случается дорожных происшествий?

Но спустя какое-то время я вновь бросил взгляд на дорогу, и снова увидел труп. На этот раз он валялся не так далеко от бровки тротуара. Никто из нас почему-то не мог припомнить, успели мы уже развернуться в нашем произвольном пути или нет. Так что, совершенно невозможно было понять: тот же самый труп наблюдаем мы сейчас или же другой? Этот труп, во всяком случае, тоже был одет в чёрное. И это точно была не собака, а какой-то священник или монах. Длинное чёрное одеяние на нём было не иначе как рясой.

– А может пальто? – спросил друг.

– Фасончик не тот, – сказал я.

Я вспомнил, как однажды наблюдал на выходе из своего двора следующую сцену. Действующими лицами в той сцене были – очень прилично одетая и по виду интеллигентная женщина средних лет и некое, опекаемое ею, существо, которое при ближайшем рассмотрении тоже оказалось монахом. Т.е. он был одет как монах – ряса и шапочка на голове, которая по-моему называется куфья (или скуфья?). Этот человек явно был нездоров, причём трудно было оценить в какой мере это заболевание душевное, а в какой телесное. Выглядел он как абсолютный идиот, у которого, к тому же, от слабости подкашиваются ноги. Я, прекрасно понимая насколько это нескромно, всё-таки никак не мог оторвать взгляда от происходящего. Женщина, по всей видимости, достала «монаха» из машины, но что же она хотела делать с ним дальше? Я быстро пошёл вперёд, за ларёк, а потом вынырнул оттуда и – как бы не спеша – побрёл в обратном направлении. Вряд ли, поглощённая своим нелёгким занятием, женщина обратит на меня внимание. Иду мимо и всё. Когда я вновь поравнялся с ними, «монах» уже сидел на корточках между отстаивающимися здесь машинами. Женщина задирала ему рясу, как юбку женщине, но между ног у него свешивался весьма достойного размера тяжёлый половой член. Похоже, что никакого белья, равно как и штанов, у «монаха» под рясой не было. А на улице было не тепло. Впрочем, он ведь до того находился в машине. А по какой нужде присаживал-

ся «монах» – я так и не сумел подсмотреть. Он всё как-то никак не мог собраться с силами, а женщина из последних сил удерживала его сзади под мышки, чтобы он не свалился. По-моему шапочка его всё же упала. Женщина изредка отпущала некие междометия приглушённым, но каким-то деланным, я бы сказал, актёрским голосом. Она словно чем-то давилась или немного задыхалась – может быть, оттого, что уже давно чувствовала на себе мой напряжённый взгляд. Дальше наблюдать я постеснялся, отвернулся и ушёл. Да, но эта необыкновенная пара мне надолго запомнилось – можно сказать, навсегда – важная дама и монах-идиот, с совершенно безмысленным, трясущимся и покрытым испариной лицом. Казалось – он собирается родить.

Теперь же я встретил труп похожего монаха. Что это труп – можно было не сомневаться. Кто-то уже заботливо прикрыл его огромным листом полиэтилена, как прикрывают мебель в квартире во время побелки потолков. К тому же, труп уже так основательно раскатали, что он сделался почти плоским. Монах и при жизни, правда, скорее всего не отличался толщиной. Черты лица невозможно было различить. Кровь на нём смешалась с грязью, а та, что пролилась, утекла вместе с талыми водами. Я наклонился, мне показалось, что из-под полиэтилена немного пахнет.

Мы всё-таки решили, что это всё тот же «монах» – т.е. тот, которого мы уже сегодня встречали. Не может же на одной и той же улице одновременно валяться сразу несколько сби-

тых монахов? Какова вероятность такого события? А какова вероятность *того* события – когда сумасшедший монах присаживался с голым задом и с женской помощью среди белого дня в центре города, на проходе между двух машин?

Запоминающиеся события вообще отличаются своей невероятностью.

Мы прошли ещё метров сто, причём миновали железнодорожный мост (один раз, т.е. не успели развернуться), и наткнулись на ещё одного мёртвого «монаха». Впрочем, что из них всё – монахи да монахи? Может быть, это были какие-нибудь дьячки? Или – во всяком случае – один из них был дьячком. Мне почему-то хочется так судить. Наверное потому, что все они, несмотря на свой раздавленный вид, выглядели молодо. Бороды были короткие, хотя, может быть, их и шишами стесало. И не было этих бегемотских священнических животов.

Но кому и зачем понадобилось сбивать столько дьячков? Неужели это, в самом деле, несчастные случаи? Их тут, по крайней мере, два, а то и три. А если подальше пройти – вдруг ещё найдём? Два – это точно. Уже есть о чём призадуматься. И почему их не убирают? Кто накрыл их полиэтиленом, зачем?

Почему все делают вид, как будто так и надо? Машины едут мимо, а то даже норовят ещё получше утрамбовать мёртвое тело. Им дай волю, они совсем вкатают этих «монахов» в асфальт – превратятся они в липковатые маслянистые

тени, как часто случается с незадачливыми зверушками поменьше.

Может быть, обратиться в милицию? Но вон идут милиционеры, и... Извиняюсь... Нам что, больше всех что ли надо? Но на душе всё же кошки скребут. Неужели это указание свыше? И насчёт полиэтилена... Сам Путин знает? Или это всё-таки просто наше обычное российское разгильдяйство? Как бы это утешило мою душу. Кто виноват? – скажи-ка брат и т.д. И т.п.

Жена моя, видя мою чрезмерную заинтересованность вопросом, начала злиться, потащила меня за руку с края проезжей части подальше на тротуар. Друг поспешал сзади, он уже готов был вывести во всеуслышание некую обобщающую теорию, но ему мешал разродиться шум проезжающего транспорта. Жена совсем осерчала и бросила как ненужную тяжесть мою, невольно сопротивлявшуюся ей, руку. Мало того – она, понюхав свой меховой воротник, внезапно истерически всхлипнула и, сорвав с себя дублёнку, бросила её лицевой стороной на асфальт – прямо в лужу, точно расстелила. Затем она, не оборачиваясь, широкими шагами, стала удаляться. У меня отвисла челюсть. Друг замер, покачиваясь – одной ногой на бордюрном камне. В этот момент сзади нас накрыло точно вороновым крылом – всё наполнилось холодом и одновременно затхлостью, даже не бензиновой вонью, а впрямь смрадом падали. Эта волна чуть не сбила меня с ног. Чтобы не упасть, я присел на корточки и закрыл глаза. Я

боялся упустить жену из виду и не знал, что там сзади происходит с другом. Совсем рядом истошно завизжала экстренно тормозящая машина.

Вдруг всё выключилось. Перед глазами возникла обморочная серая пелена, как в отыгранном все программы чёрно-белом телевизоре. Только какие-то пересекающиеся короткие чёрные царапины – вроде сучков или птичьих следов. Мне всё стало ясно, но я не испугался. Я уже проснулся.

Жар от люстры

«Я – половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам...»

Бхагавад-Гита

По этому поводу мне припоминается ещё одна притча, про одного моего знакомого. Он чрезвычайно увлекался всякими эзотерическими культами, особенно индийского толка.

И вот однажды, в Москву приехал некий учитель, имя которого я, возможно, весьма неправильно воспроизведу как Миларепа.

Этот самый Миларепа должен был выступать в одном из утративших былую посещаемость кинотеатров. Название у этого кинотеатра, насколько мне помнится, было какое-то географическое. Не то Урал, не то Севастополь, не то совсем – Горизонт.

Побывав на представлении учителя и впечатлившись не столько тем, что оный учитель говорил, сколько количеством собравшейся в зале публики, мой знакомый загорелся мыслью самому осуществить подобное мероприятие. Но, разумеется, с другим учителем и в другом месте.

Учителя, которого он имел в виду, звали, кажется, Жар от Люстры. Впрочем, я запросто могу что-то путать. Этот самый Жар от Люстры был наверно ничем не хуже и не лучше других учителей такого же ранга, но приятелю моему почему-то именно он очень нравился. Впрочем, может быть, не так уж он ему и нравился, а казался почему-то доступнее остальных. Уж этот Жар от Люстры точно должен был согласиться на его предложение. И в самом деле, почему бы ему не выступить в одном из московских кинотеатров?

Приятель мой вообще человек был деловой. Он тут же начал приготовления. Первым делом присмотрел подходящий кинотеатр, с опять-таки географическим названием. Причём название это чисто по расстоянию должно было быть ближе сердцу индийского гуру. Это например могло быть какая-нибудь Ганга или, на худой конец, Ханой. В общем, и кинотеатр и название отыскивались такие, что ищи лучше, да не куда.

Приятелю моему, привыкшему действовать нахрапом, подобно каким-нибудь монголо-татарским кочевникам, удалось сходу влюбить в себя директора избранного учреждения культуры, хотя и был он мужчиной и даже не гомосексуалистом.

Директор и его немногочисленные подчинённые, за последнее время поотвыкшие от приличных денег, были приятно поражены вновь прибывшей энергией и инициативой.

Приятелю не пришлось убеждать их, что это только начало, что впереди, может быть, целая серия подобных встреч, что надо только решиться и сделать выбор. Впрочем, выбрать было не из чего – кинотеатр на тот момент практически пустовал.

Теперь оставалось решить частные технические вопросы. Дело в том, что моего знакомого совершенно не устраивал бледный вид будничных киношных билетов. Ему предложили удвоить цену, но от этого эстетика билетов не улучшилась. Решено было, что до представления он успеет связаться со своими друзьями, и они помогут напечатать красочные билеты, причём не только билеты, но и рекламные флайеры, програмки, и иже с ними. Директор так расчувствовался, что даже неосторожно предложил покрыть часть ожидаемых расходов приятеля за счёт предстоящего сбора.

Приятель летал по Москве словно на крыльях. Дело горело у него в руках – и это было его дело, только его. Это тебе не какие-то банковские счета, не вонючая нефть, не бездушные металлы. Это даже не сомнительный по нравственности шоубизнес. Речь идёт о самом высоком, о духе. Именно для лечения духа прибудет сюда учитель из Индии. А это даже выше учителей и врачей. Да и что они там знают, священники, в своих православных церквях? Индийская религия – не

в пример древнее, значит и знает больше. Не тело надо лечить, а дух. Не нищих и голодающих спасать, а нищих и голодающих духом. Хотя – с этими *нищими духом* оставалось много непонятного...

Так вот. Всё ему удалось. И друзей, которые в общем-то были совсем не друзья, а люди весьма расчетливые и прижимистые, расстрясти на посильную помощь. И деньги, которых не хватало, найти у других таких же «друзей». Ради святого дела – он не стеснялся влезать в долги.

Даже собственную бабушку, старушку, которая на ладан дышала, он подключил к работе. Она, глядя сквозь толстенные очки, трясущимися руками, вынуждена была вырезать из компьютерных распечаток картинки – только чтобы угодить любимому внучку. И то – ей ведь дома делать нечего.

Уже был назначен точный срок. Это было что-то в декабре. Или в марте. Во всяком случае, то и дело наступали оттепели. А когда снег тает, всегда пахнет весной.

Приятель обзвонил всех знакомых, все заинтересованные организации. Инвалиды и сироты из интерната могли рассчитывать получить научение бесплатно, ветераны всех войн – тем более. Приглашён был даже некий член правительства, правда, через третьи руки, и фамилия его, даже при некоторой расшифровке, никому бы ничего не сказала.

Тут пришла пора оформлять сцену. Опять приятелю пришлось тратиться и отягощать займами близких своих, ибо у нищего кинотеатра ни денег, ни строительных материалов,

ни рабочих не было.

Из пыльных загашников была извлечена выдавшие виды трибуна, с которой когда-то по праздникам выступали партийные деятели. Трибуну подкрасили, и забили по углам недостающие гвозди. Нашёлся даже графин, который приятель в течение трех дней безуспешно отмачивал у себя дома от ржавчины. Не выдержав, он решился и подменил фамильный графин у бабушки в заветном шкафу. Одна надежда была – на бабушкину прогрессирующую слепоту. Хрустальные стаканы – на всякий случай два – он украл оттуда же. Синева этой посуды его отнюдь не смущала, т.к. должна была выражать чистоту помыслов предполагающегося учителя. А уж с кем пить после концерта, с ним или с директором, учитель сам разберётся.

Для оформления задников пришлось привлечь знакомую художницу, т.к. штатный кинотеатровский художник пребывал в состоянии почти перманентного запоя. Результат получился несколько абстрактным, однако, за неимением лучшего – терпимым. Подумав, приятель пририсовал кое-где к расплывчатым цветовым пятнам стилизованные крылья и ноги – что-то такое ангельское. Вышло недурно – приятель и сам был не дурак рисовать.

Надо было ещё написать или распечатать большие плакаты и афиши. Что до афиш – без типографии уже нельзя было обойтись. Но и это оказалось легко. Голодная типография была согласна на любую работу. И оплату потребовали снос-

ную – как раз хватило того, что удалось ему перехватить у собственной бабушки накануне.

И ещё моему приятелю пришлось провести целый день в библиотеке, где с ручкой в руке он неумоимо выписывал из соответствующих книг необходимые санскритские термины. В итоге подобных занятий у него всё перепуталось в голове. Так – что и под дулом пистолета он не смог бы вразумительно объяснить, чем отличается сатсанг от дансинга. Впрочем, последний термин, кажется, никакого отношения к Индии не имеет. Но нужно иметь в виду, что там довольно долго заправляли англичане, а значит и сейчас ещё кое-что осталось от английского языка.

В конце концов, приятель всё-таки решил пользоваться в объявлениях исключительно русскими понятиями. Ведь он не хотел уподобиться каким-нибудь декабристам от эзотерики – узок круг этих людей... Народ – вот кто должен был получить в дар возвышающее и озаряющее, единственно ценное и необходимое всем земным существам знание. А для народа – надо было сказать всё просто и понятно.

Помолясь, приятель написал вот такой эскиз:

*Жар от Люстры,
великий индийский учитель.
Лекция, семинар,
благословление желающих
и посвящение в ученики.*

«А потом дискотека» – приписал он, невольно улыбнувшись, и всерьёз задумался о том, что если он хочет, чтобы мероприятие получилось истинно народным, без дискотеки никак не обойтись.

А ещё внизу он написал в скобках: «Билеты в кассах кинотеатра». Пожалуй, всё: простенько и со вкусом, и ни одного лишнего слова. И всё по-русски, разве латинизмы? Но они ведь давно прижились. А вот захочет ли учитель желающих благословлять и в ученики посвящать? Ну, как-нибудь упросим – пусть хоть вид сделает. Может быть, он всё-таки пьющий? – тогда легче будет.

Только вот насчёт дискотеки – это действительно головная боль. И вместо того, чтобы просто вычеркнуть ненароком вырвавшееся словцо (к тому же ещё и не очень-то русское), приятель мой, сообразуясь с упрямством и взбалмошностью собственного характера, отнёс в типографию эскиз в неисправленном виде. Про эту, предполагаемую, дискотеку кроме него на тот момент никто не знал.

Если дискотека, то хорошо бы и буфет. В буфете – выпивка. А как насчёт лицензий? Можно ли курить? Надо же создать людям комфорт! И попкорн с кока-колой неплохо бы на входе продавать. Некоторые уже привыкли. Особенно молодежь. А на кого нам ещё рассчитывать?

До срока оставались всего четыре дня. Он понял, что не успевает. Т.е. с дискотекой не успевает. Успел только най-

ти, опять-таки где-то в кинотеатровых закромах, совершенно расстроенный и неистребимо пыльный рояль, и неимоверными усилиями всех присутствующих сотрудников втащить его на сцену. Единственный в кинотеатре рабочий, человек далеко за 60, после этого слёг с грыжей. Ещё был приглашён детский хор из трёх девочек, по знакомству, из ближайшего домоуправления. Одна из девочек была дочка касирши, хотя на вид больше годилась ей во внучки.

Единственная молодая дама в кинотеатре – то ли секретарь, то ли любовница директора – должна была естественно играть роль конферансье. В предпоследний момент для украшения сцены ещё были закуплены разноцветные воздушные шарик. Среди них неприятно превалировали жёлтые и красные, что не гармонировало с коричневато-чёрными задниками и синей посудой. Впрочем, пестрота могла напоминать о брэнности мира. Может, убрать задники и оставить белый экран?

Дискотеку на всех афишах пришлось вымарывать, вернее замазывать белой краской. Белой краски не хватило. Кто-то предложил использовать клей ПВА. В пылу этой работы приятель испортил себе длиннополое чёрное пальто, которым очень гордился. Дома не отмывалось, а в химчистку сдавать было поздно. Он чуть не расплакался, но собрался в кулак, как и подобает продюсеру, организующему такое солидное и богоугодное дело.

Итак, настал час «Х», вернее утро дня «Х». Чтобы чув-

ствовать больше уверенности, приятель даже разрешил себе лишний час поспать и побрызгаться, до сей поры не початым, дарёным дорогим одеколоном. Он вышел из дома и сразу же увидел хвост очереди, который торчал из дверей касс кинотеатра. Мы забыли сообщить, что подходящий кинотеатр он по счастливому стечению обстоятельств обнаружил как раз рядом со своим домом.

Такого аншлага это старое культмассовое заведение, скорее всего, не переживало уже с десятков лет. У директора сейчас, наверное, при взгляде в окно замирало не совсем здоровое сердце, а у его секретарши сводило не совсем здоровую шейку матки.

Значит – дала-таки себя знать реклама. Значит – не зря приятель лепил дрожащими пальцами несанкционированные листочки в вагонах метро. Удалось! Ему невероятно захотелось закурить, но он не мог решить – что предпочтительнее – подобрать окурок или стрельнуть у проходящего мимо. На него напал какой-то паралич. Он посмотрел на часы. До сеанса оставалось ещё четыре часа. Вот сейчас он как победитель проследует вовнутрь через парадные двери кинотеатра...

Может быть, не следует курить? Осквернять своё чистое дыхание? Ещё бы ничего смотрелась в его зубах хорошая трубка или же сигара. А сигарета или папироса – нет, они могут его только унижить, профанировать момент.

Он стоял, и улыбка растягивала его губы так, словно кто-

то держал его за углы рта сильными пальцами. Какая-то тупость и опустошённость поселилась в нём, в ней затерялись даже мысли, проистекавшие из тоски по никотину. Это была великая пустота. Весьма возможно, та самая великая пустота, за которой ныне стремились люди к означенному кино-театру. И вот, он имел её бесплатно, не от кого, просто так...

Приятель упал в грязный сугроб, отделявший тротуар от мостовой, ибо единственная мысль поразила его в звенящей пустоте в самое сердце. И снаряд этот был куда более разящим, чем Амурова стрела. Возможно, он был запущен из какой-нибудь чудо-баллисты. Приятель упал ничком и бился лицом об заскорузлый и закопчённый снег, уже отнюдь не опасаясь испачкать свои парадные одежды.

Никакого Жара от Люстры не было. И этот факт вдруг открылся ему с такой неотвратимой силой реальности, что он чуть не умер на месте. Во всяком случае, это было вполне похоже на эпилептический припадок или, может быть, на пресловутое озарение!

Люди ждали его. Вернее не его, а Жара от Люстры. Почти все билеты уже были распроданы. Кассирша охрипла с отвычки, а дочка, вертясь поблизости, натёрла ей колени. У директора же с секретаршей уже начались судороги лица от непрекращающихся улыбок. А в глазах моего несчастного приятеля – облезала позолота, оставалась свиная кожа. Вся мельтешащая пестрота превращалась в чёрный прах, а затем – в бесконечный белый экран. Кина не будет. Только необъ-

ятно широкий лоб, начисто выбеленного, всеобщего скелета.

Он не мог плакать. Он задышался. Весь мир перед ним, самый воздух, шевелился как созревающая лягушачья икра, чёрными точками и наступал, надвигался, тотально и неотвратно, но почему-то издевательски медленно, толчками, как в зависающем видео. Он даже не мог закрыть глаза, чтобы не видеть этого, и осколки льда с солью больно льнули и ранили роговицу...

Наконец из горла его вырвалось гомерическое рыдание, а с ним чуть не вырвался и лёгкий, но изысканный завтрак, которым он накануне себя столь любовно снабдил. Это был крах, полный крах!

Отец

«С приличествующим случаю величием духа он должен скрывать свою боль...»

С.Кьеркегор

И вот я стою и торгую видеокассетами на рынке. Всё как обычно. Распространяюсь перед покупателями, что новенького и припоминаю, что они ещё не смотрели из старенького. Суббота – самый бойкий день. Я только и делаю, что грешу – в субботу по еврейским понятиям, в воскресенье – по православным. Народа на редкость много. Такой час. Но может быть, уже через несколько минут все разбегутся, и будешь

здесь сидеть и куковать в гордом одиночестве.

На рабочем месте меня нередко навещают друзья. Так что я не очень удивляюсь, разглядев среди лиц клиентов какое-нибудь уж слишком знакомое и не вписывающееся сюда лицо. Клиенты, впрочем, тоже почти сплошь мои знакомцы. Только тот клиент ценен, который постоянен. Только тот хорош, с которым поговорить приятно, если даже ничего ему и не продашь.

Я на секунду закрыл глаза. Просто моргнул. Только что мне пришлось общаться сразу с несколькими заинтересованными людьми. Одному объяснять возможную причину брака на возвращённой им кассете, другому отдавать сдачу, с третьим просто здороваться и улыбаться. К тому же, необходимо было записать все проданные кассеты в тетрадь.

Я закрыл глаза и почувствовал *это*. Мне стало страшно. Вернее, я не успел испугаться и поплыл. Я понял, что плыву, и это меня испугало. Испуг отрезвил меня, и я открыл глаза. Не могу сказать, что я им не поверил. Просто на тот момент у меня не нашлось ни слов, ни мыслей, ни эмоций. Вдруг напала какая-то лень, дрёма, слабость. Так на лицо напозапет мертвецкая бледность, когда тебя избивают, а ты не находишь в себе ни сил, ни воли защищаться.

Это была не какая-нибудь моя старая любовь, на что я в тайне надеялся. Это был... отец. Он стоял, зажатый с обеих сторон клиентами. Мужчины по сторонам были мне не очень знакомы – благо, они, не задавая вопросов, углублён-

но изучали товар, разложенный на столе. Отец тоже молчал и виновато улыбался.

– Привет, – зачем-то сказал я и удивился гулкости своего голоса.

– Привет, – ответил он приглушённо.

Я опустил глаза. Брови были тяжёлыми как гири. Я очень-очень рассчитывал, что когда я их подниму, он исчезнет. Пауза зрела и звенела. Я рывком поднял веки и голову. Отец стоял передо мной. Оба клиента исчезли, так ничего и не купив. «Философы» – как мы таких называем.

– Может быть, зайдёшь сюда, присядешь, – опять-таки неожиданно для самого себя предложил я отцу.

– Да нет, – ответил он тихо и покачал головой. Его голос едва пробивался через рыночную музыкальную какофонию.

Я вздохнул. Так тяжело, что отец не мог этого не заметить. Я всё ещё отводил взор, боялся смотреть ему в глаза.

«Наверное, надо что-то спросить...», – мелькнула у меня мысль. Отец, по всей видимости, моих мыслей не читал. Он – то ли не хотел, то ли не мог подсказать мне образ действий.

Я пожевал губами, и, набравшись духа, сфокусировал зрение прямо перед собой.

– Я не знаю, на самом деле это происходит или нет – выговорил я. – Но то, что происходит, для меня очень тяжело. Скажи пожалуйста, зачем ты пришёл?

Я говорил, но мне казалось, что я скорее не говорю, а слушаю сам себя – голос звучал как чужой, раздавался как в

бочке. Мало того, я не понимал, нужно ли это говорить. Мне вовсе не хотелось обижать отца. Но что я должен был делать? Обнять его, повиснуть на шее?

Отец улыбался всё той же, довольно жалкой, улыбкой. Эту улыбку я помнил у него с тех пор, как мне в малолетстве пришлось отбиваться от навязываемой им дружбы после того, как он разошёлся с матерью.

– Ну, ты скажешь что-нибудь? – вдруг спросил я почти раздражённо.

Отец опять улыбнулся, на этот раз, я бы даже сказал, галантно. И это слегка разрядило ситуацию. Он вообще был светским человеком, весьма светским:

– Я узнал, что ты здесь. Смотрю, как устроился.

– Если хочешь, расскажу, чем мы торгуем, – предложил я.

Отец очередной раз улыбнулся, теперь уже на какой-то свой иронический и развлекающий лад.

Я натянуто улыбнулся в ответ. Улыбаясь, я осознал, насколько устал за последние минуты. Будто на самом деле на мне воду возили. Захотелось сесть, но было неудобно перед отцом.

– Как ты себя чувствуешь? – предупредительно спросил он.

Голос у него был, как я уже сказал, очень тихий, но всё-таки я его отчётливо слышал, в то время как, чтобы слышать сквозь окружающий шум некоторых клиентов, мне приходилось заставлять их по три раза повторять на повы-

шенных тонах одно и то же.

«Может быть, это звучит всё-таки только в моей голове?» – сделал я осторожный, но обнадеживающий вывод.

Отец наклонился к моему уху. Была, кажется, у него такая привычка. И я ощутил знакомое дыхание, дыхание с придыханием. Услышал, как посвистывает его горло, как он сглатывает слюну. Это был несомненно он – целиком и полностью. Был даже его слегка кисловатый запах.

– Ты долго здесь будешь? – спросил меня отец на ухо – так, точно собирался вступить со мной в какой-нибудь сговор.

– А что? – спросил я, невольно отпрянув, ибо его дыхание щекотало волоски у меня внутри уха.

– Да может быть, я мог бы тебя дождаться?

Я посмотрел на часы:

– Нет, ещё долго. Мне здесь надо быть хотя бы до семи часов, – а сам подумал: «Что я говорю? Мне наверно в таком случае следует всё бросить и идти за отцом, куда он пожелает...»

– Жаль, – отец разочарованно нажал плечами.

– Ты торопишься? – спросил я.

Отец замялся.

– В общем, нет – сказал он вскоре. – Но если ты занят...

– Только ты не обижайся! – взмолился я. – Суббота – у меня самый доходный день!

Отец улыбнулся понимающе и панибратски вскинул подбородком.

– Блин! – выругался я. – Был бы кто-нибудь, кто мог меня заменить... Как назло – все разбежались. А клиенты так и прут.

Отец стал озираться по сторонам. Я врал. Вернее, уже врал. Клиенты были, но вот их и след простыл. Толпы бродили по рынку, но всё мимо. Так бывает. Не всякий ведь забредёт в нашу закуту.

Отец почесал нос:

– Жарко тут у вас, – сказал он.

– Кондиционеры работают, – похвастался я. – А тыними плащ, я на спинку повешу.

– Да ладно, – отмахнулся отец. – Расскажи лучше, как ты здесь? Как заработки?

– Ну, когда как. В общем, ничего. – Ушёл я от прямого ответа, сам не знаю зачем.

– Как семья?

– Семья – как семья, – снова неопределённо ответил я. Как будто у меня могли быть какие-то основания что-то скрывать от отца.

Он помолчал.

– А в поездки больше не ездешь?

– Что? – не понял я.

– Ну, на поездах?

– А, нет. Уже давно. Там перестали платить. Да и поездок мало. А сидеть здесь – сторожить вагоны – не велика радость.

Это я отцу – про свою, не так уж давно оставленную, про-

фессию проводника почтового вагона.

– Да-а, – протянул отец, чтобы что-нибудь сказать. А как стихи?

Я шмыгнул носом:

– Ну, пишу иногда. Но щас мало.

– А почему? – вроде расстроился отец.

– Да возраст уже, – смущённо улыбнулся я. – Хватит. Или придётся ещё раз влюбиться. Возможен адюльтер – сам понимаешь, нехорошо.

Отец помрачнел. И я вспомнил, что он всегда болезненно воспринимал подобные шутки. Кто знает – может быть, сработало подсознание, и я вновь мстил ему, вроде бы невзначай его подковыривал.

– А как мама? – переменил он тему.

– Жива, здорова – слава Богу, – я перекрестился.

– А бабушка?

Я широко раскрыл глаза.

Отец будто что-то припомнил и, оттопырив нижнюю губу, сокрушённо покачал головой:

– Когда это произошло?

– Да уж ... почти десять лет прошло. А ты разве не знаешь?

Он посмотрел на меня испытующе. Была в этом взгляде какая-то внутренняя боль. Он словно проверял меня на вшивость. Но я даже не мог понять, в какого рода вшивости он пытался меня уличить. Я чуть не утонул в этих глазах, зелё-

ных с разводами растворённого на молоке кофе. Я вовремя спохватился.

– Уу-х! – выдохнул я.

Отец примирительно улыбнулся.

– Ничего, – сказал он. – У меня что-то с памятью, знаешь.

Иногда вылетает. Годы.

– Что-то непохожее на тебя рассуждение, – зачем-то сказал я.

Отец поднял брови – он так всегда иронизировал. Вернее – это был привычный сарказм. Отец как отец. Значит всё в порядке. И эта его, тщательно скрываемая, но вечно проби- вающаяся сквозь тонкую кожу наружу, нежность... Она сей- час – как никогда сильно чувствовалось. Я, кажется, унасле- довал эту его черту. Но чувствует ли хоть кто-нибудь меня так, как я его сейчас?

– Ну, мне наверно пора, – полуспросил он.

Я уже с непритворным сожалением вскинул глаза:

– Уходишь?

Мне очень захотелось спросить у него телефон. Или... я дал бы ему свой. Но ведь он должен знать! В голове у ме- ня опять всколыхнулся какой-то сумбур. Я никак не мог ре- шить: что' следует, а чего не следует спрашивать теперь у па- пы?

Вот, что бабушка умерла, он почему-то не знает. Или при- творяется? Или забыл?.. Там ведь ему – должно быть вид- нее...

Может быть, пойти всё-таки проводить его хотя бы до дверей рынка? Или до метро? Но куда он? Да, куда он едет?

– А куда ты сейчас? – вырвалось у меня.

Отец грустно улыбнулся.

Я знал один из возможных его теперешних адресов. Не так давно мы с дочкой закопали тюльпанные луковицы в его, ещё не успевшую как следует провалиться, могилу.

– А ты оттуда можешь звонить? Хоть иногда? – спросил я, и мне было невыносимо страшно и неудобно за свои вопросы.

Отец криво и загадочно улыбнулся и нетерпеливо повертел головой, его уже подмывало уйти.

– Я что, тебя больше никогда не увижу?

Он посмотрел на меня в упор и не ответил.

Я обессиленно опустил глаза и руки. Веки стали неприподъёмно тяжёлыми.

Казалось, что в слёзных мешочках зреют такие крупные слёзы, которым во веки не пролезть сквозь узкие протоки. Скорее, верблюд...

Я всё-таки поднял лицо. У меня тряслась шея. Отца не было. Я пошарил вокруг сумасшедшими глазами. Весь мир подёрнулся дымкой. Звуки и запахи тоже. Слава Богу, что никто из клиентов меня в этот момент не доставал. Язык прилип к нёбу, вся слюна во рту внезапно кончилась. Надо попить. Но вместо того, чтобы пойти за водой, я водрузился на своё сидалище. Пока никого нет – можно закрыть глаза и всё

обдумать.

Случалось, покойники являлись ко мне во сне. Да с кем такого не случилось?

Бабушка однажды приснилась, и я обнял её.

– Наконец-то ты появилась! – возликовал я.

– Нет, это не я, – сказала бабушка.

– Как не ты, а где же ты? – удивился и расстроился я – ведь все мои пять чувств совершенно убедительно свидетельствовали, что вот это, сейчас, передо мной, именно моя бабушка.

– Твоя бабушка в другой комнате, – сказала бабушка неожиданно жёстко, и даже стала отталкивать меня руками.

– А кто же ты?

– Я призрак. Не обнимай меня! – она окончательно отстранилась.

Я стоял перед ней как оплётанный и смотрел на неё снизу вверх умалаяющими глазами. Она почему-то стала очень большой – как башня. Или это я – что гораздо более вероятно – опять стал маленьким, как в детстве.

Эта бабушка была для меня недоступна и взирала строго. Но в уголках её глаз и губ я всё же угадывал знакомую любовь.

– Ты не шутишь? – с последней надеждой спросил я.

– Я не шучу, – отрезала бабушка и, уперев руки в боки, отвернулась.

Я открыл дверь в маленькую комнату, куда указала бабушка, вбежал туда, но никого там не обнаружив, бегом же вер-

нулся обратно. В большой комнате тоже уже никого не было. Я лихорадочно осматривался. Даже на шкаф и под диван заглянул. Кинулся ещё раз в маленькую. Но там было по-прежнему пусто. Бабушка ушла, испарилась. Зачем-то обманула меня. Может быть, хотела предостеречь? И то – общение с призраками – наверно не самое безобидное занятие. Такого не пожелаешь собственному внуку.

Ещё ко мне приходил мой двоюродный, безвременно умерший брат, второй внук той же бабушки. У него всегда что-то не в порядке было с лицом – какая-то кровь, и на руках... Но это было понятно – ведь он погиб при весьма загадочных и трагических обстоятельствах...

Являясь ко мне во сне, брат с каждым разом становился всё чище – пока совсем не исчез. Быть может, Господь наконец-то освободил его заблудившуюся душу? Хотелось бы на это надеяться.

А тут... Призрак отца явился среди белого, пусть и изрядно подсвеченного люминесцентными лампами, но дня, на рынке, а отнюдь не в храме, в цитадели, можно сказать, всех возможных грехов и пороков. Вот это, всё что находилось здесь, – я приоткрыл глаза и вместе со светом поймал в щёлки меж век тревожный и гнетущий гул – это и есть самая что ни на есть вопиющая реальность! Иначе – какая ещё земная реальность может быть на Земле?!

От этих мыслей с ума можно было сойти. Я опять поплотнее сомкнул веки и постарался переключиться. Клиенты –

молодцы – всё ещё меня не беспокоили. Хотя и деньги между тем – какие-никакие – конечно утекали из рук.

Вдруг я вскочил и заметался, как испуганная лошадь. Никого не было – ни призраков, ни людей. Только девчонки напротив наяривали какую-то до исступления реальную попку. Я опять присел и вытер со лба засморканным платком липкий горячий пот. Ещё раз встал и для надёжности огляделся. Поджилки дрожали и ноги подкашивались. Ладно. Как бы там ни было – надо отсидеться и ... переключиться. Сейчас, может быть, кто-то придёт... И попить. Но идти куда-то – пока выше моих сил. А вдруг?.. Вдруг – всё *это* вообще сейчас исчезнет? Я зажмурил с натугой свои, самостийно вылупляющиеся, как подоспевшие цыплята, глаза. Может быть, глаза боялись быть закрытыми? Глаза боятся...

Мне всё-таки удалось переключиться. Я стал думать о тшете «реальности», о том, что вот уже очень скоро мы будем продавать вместо громоздких кассет DVD, после DVD – какие-нибудь минидиски, а потом – если доживём и не прихлопнет нас, негодников, какая-нибудь инспекция – вовсе станем торговать какими-нибудь микрочипами, которые будут прикрепляться, скажем, к виску, а там, глядишь, и безболезненно внедряться в мозг. Зачем тогда все эти телевизоры, голография? Зачем сами глаза, которые боятся? Можно ведь, наверное, когда-нибудь будет продавать сны, сны в чистом виде. Конечно, это будет выглядеть совсем не так, как в наивном фильме 40-ых годов. Да и нужны ли кому-то чу-

жие сны? Риторический вопрос! Что за болезненное любопытство?!

Тут ко мне пришли клиенты, и я до самого конца рабочего дня уже не задавался никакими вечными вопросами.

Когда спящий проснется

*«То, что следует принимать как данное нам, – это, можно сказать, **формы жизни...**»*

Л. Витгенштейн

Допустим, меня усыпили. Не сейчас, а скажем, в 60-ых, 70-ых годах благословенного 19-го века, пусть и поднимала уже в те годы драконью голову прогрессивная еврейская печать, пусть и готовы уже были подрывать своими бомбами расслабившихся царей бескорыстные до отвращения народовольцы.

Пусть это даже будет самое начало 20-го. Ещё достаточно тихо, и всё в диковинку. И дамы ходят в широкополых шляпах – или я ошибаюсь в моде? – и даже кинематограф ещё толком из яйца не вылупился...

Так вот, некий, не до отвращения бескорыстный, изобретатель, каковыми, как известно, всегда полнилась и полнится земля русская – прямо как червями пузырится – этот изобретатель помогает мне впасть в анабиоз, или как там его ни назови. Совсем как у Герберта Уэллса. Он вот только поче-

му-то в своих трудах не отразил ни одного русского изобретения. А вообще, здорово могло бы получиться: представляете себе этакую помесь «Бесов» с «Войной миров»? Круто! А то какая-то Россия во мраке... Скучно, господа. Вечно-то вы подозреваете нас, европейне треклятые, в недостаточной культурной зрелости и в отсутствии самоиронии, которой англичане бравировуют так, как не бравировал Леонид Ильич своими звёздами Героя Советского Союза.

А я азиат, и если у меня мрачная рожа, это ещё не значит, что в душе я не ржу как кобыла над нынешними высокоумными европейскими идиотами... Вам что Шпенглер говорил? А Ницше? А Жар от Люстры?

Но пардон, опять мы отвлеклись. Так вот, значит, заморозили меня, или там – утопили в каком-нибудь геле – отчего бы не в меду, например? И пролежал я, значит, в таком состоянии никак не меньше, а скорее всего, даже побольше, чем 100 лет. «И вот настало пробужденье»!

Я жду, пока сфокусируются глаза. Я уже понимаю, что опять появился на свет. Вполне можно сказать, что второй раз родился. Я жажду увидеть хоть что-то кроме снов (которые, может, всё-таки как-нибудь можно рассмотреть в непроглядном анабиозе?).

Шум. Я понимаю, что это шум. Довольно ровный и однообразный. Сначала я думал, что это кровь шумит в оживающих венах. Но больно уж громко. Может быть, водопад, река? Или извергающийся Везувий? От последнего предпо-

ложения я вспомнил, что когда-то умел смеяться. Надо будет как следует поупражнять уголки губ. Губы – теперь я чувствую, что они у меня есть. Ещё не одна осень пройдёт, прежде чем я вновь научусь свистеть. Оказывается зато, что я вновь умею мыслить поэтически...

Итак. Что же это передо мной? Дымка помаленьку редет. На каком это расстоянии? Я ещё слаб и перед тем, как окончательно вернуться в реальность, вновь прикрываю глаза. Я готовлюсь к окончательному броску. Я начинаю по-настоящему ощущать собственное тело, собираю его по кускам. Вот руки, они затекли – не мудрено – проваляться 100 лет без движения! Смогу ли я вообще теперь ими двигать? Не атрофировались ли мышцы напрочь? А что, это было бы вполне логично...

Ноги, ногам что-то мешается. Они, кажется, согнуты... И вообще – как я лежу? Неужели я лежу на животе? Не может быть! Покойников и лежащих в анабиоз всегда укладывают на спину. По крайней мере, только так я видел в фильмах. А здесь, а теперь?

Так, всё-таки я, скорее всего, лежу на животе. Поэтому и трудно дышать. Но если я понимаю, что трудно дышать, значит, скорее всего, всё-таки дышу – и то дело.

Что-то мне давит на шею. Так – и шея есть. И грудь во что-то упирается, во что-то жёсткое... Вот, оказывается, на какие тонкие ощущения мы уже способны. И запах – бьёт в нос...

Погоди! Если я лежу на животе, каким образом могут быть согнуты мои ноги? Они что, приподняты? То-то отлило от ступней – почти их не чувствую. Но значит – ступни всё же есть – оглянуться бы. А то вдруг это всё фантомы?

А вонь? Это прямо ни на что не похоже. Ну, во всяком случае, это никак не запах разложения – и на том спасибо.

Вот сейчас я открою глаза и всё увижу. Не буду даже пытаться как-то ещё шевелиться, ибо на этом рискую растратить последние силы. Только раскрою глаза. Итак...

Это какие-то жуки... Огромные, разноцветные. Может быть, они не такие уж огромные, но просто находятся где-то совсем рядом, у моих глаз. Кажется, у Эдгара По было что-то такое...

Жуки очень быстро бегут. Все в одну сторону. Нет, погоди – одни в одну, другие в противоположную, но точно первым навстречу. Но они не сталкиваются. Одни бегут по одной стороне, другие по другой. Это похоже на какую-то дорогу...

Неужели это жуки так сильно шумят? Наверное, мне всё ещё продолжает сниться какой-то анабиозный сон. Надо успокоиться и расслабиться, надо доспать, и тогда... Я пробую снова уснуть, закутаться, провалиться в своё недавнее, пускай неподвижное и, как говорят, похожее на смерть, но такое уютное состояние. Я открыл глаза – и что же? – поговорить не с кем. Значит – надо снова заснуть, уснуть во сне – может быть, именно тогда, наконец, истинно проснись?

Может быть, и не было на самом деле никакого *вечного* сна? Сейчас меня обнимут как первопроходца экспериментаторы, которые всего-навсего испытывали крепость моей воли и разума, вводя меня в изменённое состояние сознания? Может, я вовсе проснусь со своей женой? А может... Губы раскатал!

Я убаюкиваю себя этими рассуждениями и предположениями, убаюкиваю изо всех сил. И отмечаю, что вот уже опять научился мыслить вполне отвлечённо. Значит – и во сне можно мыслить. Но довольно скоро это переливание из пустого в порожнее начинает меня раздражать. На самом деле – сплю я или не сплю? Почему мне снится, что я не сплю? – Вот вопрос!

Надоело лежать с закрытыми глазами – опять открою глаза. А ведь я уже это делал, вот совсем недавно – гляди-ка, и чувство времени начинает восстанавливаться – или мне всё это только кажется, снится? Надо проверить. Вот открою глаза и проверю. Хотя... В общем, каков критерий реальности? В общем – хватит демагогию разводить – проснись.

Злой сам на себя, я резко разлепляю глаза. И резко навожу их на резкость. Я вижу. Действительно: подо мной (я ощущаю это именно под собой, с чувством земного тяготения всё порядке) ползают жуки. Быстро – ног не видно, они – то ли у них под брюшками, то ли ...

Вдруг к горлу подкатывает тошнота. Это может быть от удушливого запаха. Он идёт явно от жуков – но так не может

пахнуть что-либо живое. Или это от шума – кажется, он уже поселился внутри головы – неотвратимый, монотонно гнетущий. Я бы блеванул, да нечем – не ел больше ста лет, да и сил у пищевода, наверно, не хватит. Да и что это давит мне на верхнюю переднюю часть туловища? Какая фигня мне подбородок царапает?

И вдруг я осознаю, что проснулся. И мгновенно становится страшно, до того, что дыбом встают волоски где-то на задней стороне шеи. Лежу и не могу пошевелиться. Кончится ли этот паралич? Подбородок, похоже, упирается во что-то каменное – такое оно холодное и шершавое – и смотрю я вниз, именно вниз...

Боже!.. И вот я начинаю орать, ибо ничто человеческое не дано увидеть мне в этом веке – машины, машины, машины... Истошным, как у роженицы или умирающего, криком я пытаюсь разбудить, разбудить себя в последний раз, чтобы только не видеть этот кошмар.

Я могу кричать. И я кричу только потому, что понимаю, что проснулся. Это – невероятный ужас – то, что я вижу перед собой. Может быть, всё-таки можно ещё хоть как-то напрычься или наоборот расслабиться, чтобы перейти в другое, хоть чуть-чуть более выносимое состояние?

Мой крик звучит всего несколько секунд, и одновременно – он длится вечность. Вообще понятие «одновременно» не подходит. Я проваливаюсь сам в себя, в свой крик, в бесконечную тоску, в нечеловеческое одиночество. Только там

я надеюсь найти что-то ещё, пусть умереть, но хотя бы так обрести *настоящее пробуждение*.

Такое, впрочем, могло мне привидеться и спьяну, вернее, с похмелья, когда я, открыв глаза, обнаруживаю себя лежащим поперёк узенького тротуара на одном из автомобильных мостов через Московскую Кольцевую. Голова – лицом вниз – торчит наружу между прутьями внешней ограды, а ноги коленями упираются в ограждение, за которым проезжая часть. Естественно, сначала я ничего не соображаю, вижу только бесконечно снующие подо мной, отвратительно воняющие и жужжащие автомобили, и от страха воплю. Вот *это* есть, и больше ничего *нет*. Только представьте себе *это!*.. Нужна ли такая жизнь? Моя ли это жизнь?

Ну а потом – я либо умру каким-нибудь образом в тот же день, либо продолжу жить и вернусь к своим повседневным обязанностям. Вот сейчас встану и пойду к ларьку – надо, наверное, похмелиться.

Случай с геморроем

«Вот, например, человек, который в течение одного дня ощутил девять тяжёлых впечатлений на одно приятное...»

И.И.Мечников

Ну, теперь самое время рассказать какую-нибудь весёлую историю. Ибо приблизилось Царство Небесное. И кто не спрятался, я не виноват.

Один мой бывший сослуживец, человек весёлый и толстый, однажды был весьма неприятно поражён тем, что стал испытывать боль, справляя большую нужду. Герой наш любил поест, соответственно и противоположенный поглощению пищи процесс имел в его жизни довольно выдающееся значение. Естественно, он был раздосадован и испуган – что же теперь – ни пожрать, ни... в туалет сходить?

Убедившись при очередной попытке в серьёзности и неотступности своей проблемы, он решил посоветоваться с женой, которая, как он полагал, была гораздо более сведущей, т.к. когда-то училась в медицинском училище. Он описал симптомы, и жена без колебания поставила диагноз: геморрой.

Обстоятельства складывались таким образом, что самым лучшим выходом было, не медля далее, посетить ведомственную поликлинику. Некоторое недоумение, правда, вызвал вопрос о том, к какому врачу обратиться. Как ни старались, ни умудрённая образованием супруга, ни – тем более – скромный супруг, не могли даже предположительно вспомнить, как называется нужная врачебная профессия.

Общими усилиями порешили на том, что больной попросту назовёт своё заболевание в регистратуре, а там уж его направят куда надо. Вопрос был несколько деликатный, и сослуживец мой немного стеснялся. Но вполне реальная боль гнала вперёд.

По дороге в поликлинику в его, не слишком привыкшую

к какой-либо рефлексии, голову, разумеется, лезли всякие неприятные мысли. В том числе и хрестоматийная мысль о жизни и смерти. Но жена успокоила, что это не рак, а то, что у него, бывает, если не у каждого первого, то уж наверняка у каждого второго, особенно у мужиков, особенно при сидячей работе, да и возраст уже... Почти всё совпадало. Но всё-таки – именно для собственного спокойствия – надо провериться. Это тоже был приговор жены.

Да и некогда было бедному толстячку думать о смысле жизни – ему бы сейчас только не забыть, как его проклятая болезнь называется. А уж всё остальное – как-нибудь приложится.

Ехать было довольно далеко. В автобусе, в метро, потом опять в автобусе – он всё повторял про себя и не совсем про себя, т.е. бормотал себе под нос, как какой-нибудь детский стишок или скороговорку: «Гемор, гемор, геморрой!»

Женщины в автобусной толкучке поглядывали на него подозрительно, но он только весело подмигивал им обоими глазами. Вообще, он был человеком вполне приспособленным к жизни, и не хотел учиться унывать.

Но поселившиеся в его душе мысли продолжали своё подковырывающее и даже разрушительное действие – прямо как какие-нибудь черви в сыре. Ему казалось, что он весь прорастает этими мыслями, но только мысли эти растут не как нормальные растения – снизу вверх, а устремляются от головы к заднему проходу. Может быть, именно от этого все

его затруднения? Все болезни, говорят, от нервов, – а значит, от головы. А нервы, ведь они такие длинные – похожи на ветки и стебли, похожи на змей... Впечатлённый мыслитель на этом образе передёрнулся. От нервов говорят, бывает рак. Мало ли что там жена говорит... А он ещё волнуется – значит нервничает – значит надо успокоиться. И, стараясь подавить в себе вредную душевную смуту, герой как спасительное отвлекающее заклинание повторял: «Гемор, гемор, ге-мо-рой...».

Однако под влиянием всё разъедающих и искажающих мыслей, внимание его поминутно и даже посекундно отвлекалось от механического произнесения одной и той же фразы. Ужасные нервы, чуть ли ни бритвой проскользнув между ягодиц, пускали свои змеиные головы ещё ниже и заставляли холодеть пятки и пальцы на ногах. Героя несколько раз пробивал озноб, и он не понимал отчего: от болезни или от плохих мыслей? Скорее всего – и от того и от другого. «Гемор, гемор, ге-мо-рой!» – тем не менее, упорно повторял он, держась за придуманную им говорилку, как за палочку-выручалочку. Тут нельзя не отдать должное выдержке и настойчивости нашего персонажа.

На автора этих строк, например, в подобной ситуации могла бы напасть такая прострация, что просто бы губы перестали шевелиться – какие уж тут скороговорки.

Но и у нашего волевого больного не всё оказалось так уж гладно. Дело в том, что из-за общей длины пути, а также из-

за постоянных отвлечений, как уже описанных, внутренне-го, так и внешнего порядка, вроде толчков в транспорте и необходимости переходить на светофор, содержание, а точнее форма, стоически повторяемого им высказывания начала терпеть всё нарастающие и необратимые изменения.

Бессознательно герой припомнил, как выглядит латинское написание названия предполагавшегося у него недуга. Они с женой вместе смотрели в энциклопедии. Это слово произвело на него тем большее впечатление, что было ещё длиннее соответствующего русского и тем менее удобовыговариваемым. На самом деле, он догадывался только о том, как могло бы произноситься лишь самое начало этого термина. Почему-то звучало оно не так, как по-русски. Сейчас, уже приближаясь к лечебному заведению, он, разумеется, уже не сумел бы точно припомнить, как выглядело высмотренное в книге иностранное словцо, но исподволь запечатлевшееся на сетчатке видение заставляло его потихоньку перековыривать слоги в своей считалке.

Так «Гемор, гемор, геморрой!» окончательно превратился в «Гаймор, гаймор, гайморит!» почти к тому самому моменту, когда он достиг крыльца поликлиники. Этот "гайморит" как бы явился естественным выводом из всех его тяжёлых рассуждений по дороге. Но на мгновение он вдруг заподозрил в этом выводе серьёзный подвох и даже затормозил, приоткрыв дверь, на пороге, за что был жестоко обруган некоей, торопящейся, вероятно, засвидетельство-

вать собственную нетрудоспособность, особой. Слово "гайморит" наш страдалец определённо уже когда-то слышал и почему-то был уверен, что так называется именно заболевание. "Гаймор, гаймор гайморит!" – повторил он ещё раз неуверенно и рассеянно, пропустив вперёд продолжающую что-то стрекотать скандалистку. Гайморит – вполне подходящее имя для болезни. Если он всё-таки искажил настоящее имя, то совсем немного, и специалист наверняка поймёт, о чём идёт речь. На этом он твёрдо решил поставить точку в череде, точивших его здоровую сущность, сомнений.

Выстояв, длиннюющую как всегда, очередь в регистратуру и успев вспотеть от перемены температуры воздуха и от внутренних, не прекратившихся, увы, по приказу воли, треволнений, он, наконец, обратился к регистраторше.

– Простите, у меня... Гаймо... – произнёс он несколько тише, чем следовало, с виноватой, но милой улыбкой. Окончание слова всё-таки продолжало его смущать.

– Гайморит? – грубовато спросила тётка из окошка после неприятно повисшей паузы. Сосед сзади с тёмной ненавистью дышал нашему весельчаку в шею.

– Вот, вот, – поспешил он упрочнить своё положение. Раз уж она говорит «гайморит», значит так и есть. Не может и не должно быть двух болезней с такими похожими названиями! Да и жена могла что-нибудь перевернуть – тоже мне медик!

Регистраторша уже всю выписывала ему талон, потом поинтересовалась насчёт карточки и ушла её искать. Сзади

кашляли и сморкались злые и завистливые больные. Герою было всё-таки неудобно, и он переминался с ноги на ногу, поводя глазами то туда, то сюда – точно пританцовывал. Надо сказать, вид у него при этом был достаточно идиотский.

И вот все формальности были улажены, и герою, вооружённому необходимыми документами, надлежало незамедлительно следовать на третий этаж, в кабинет 31, где его должен принять нужный врач.

Вздыхнув с облегчением, от души поблагодарив работницу, страдалец почти побежал к лифту. Но тлеющая в теле рана вдруг наказала его за столь непозволительную игривость. При одном из резких и неосторожных движений ему внезапно стало так больно, что потемнело в глазах. Герой, конфузясь, оглянулся на очередь. Но, слава Богу, никому уже до него не было дела.

В вестибюле перед дверью заветного врача уже выжидало четыре человека. До конца приёма, как выяснилось ещё в регистратуре, оставалось менее часа. Так что наш герой стал переживать ещё и из-за того, что его могут сегодня не принять. Но опытная дама, находящаяся в очереди непосредственно перед ним, успокоила – мол, раз дали талон, должны принять. Ещё более успокоили болящего два соискателя, занявшие очередь после него. Если уж кому-то не повезёт – то скорей всего не ему.

Специальность врача, к которому сидели все эти люди, и в самом деле, внушала уважение уже тем, как выглядело слово

и как ощущалось оно на языке при попытке произнесения.

ОТОЛАРИНГОЛОГ –

значилось на двери. Что ж, вполне соответствующее важности и щепетильности момента название. Не даром же они никак не могли его воспроизвести вместе с женой, и даже не знали на какую букву искать его в энциклопедии.

Теперь можно было совсем успокоиться. Это слово он точно уже видел, и видел именно в больнице. Всё совпадает. Недурно было бы конечно посоветоваться с более опытными больными. Но здесь как-то больше всё женщины, и не старухи – прилично ли? У одной ухо бинтом замотано, ещё и ухо – бедняжка!

Очередь, против ожидания, шла довольно быстро. Герой, который раз в своей жизни, изумился, с какой скоростью слабый пол умеет снимать и надевать штаны.

Вот уже энергичный доктор, черноволосый еврей в солидных очках, приглашает его жестом внутрь. Герой заторопился, отчего затряслись складки на животе и опять отдало болью в интимное место. Чтобы не застонать, он широко улыбнулся врачу:

– Здравствуйте!

– Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, – сказал тот, пропуская объёмистого больного и закрывая за собой двери.

От обилия холодных инструментов на столе улыбка моего бывшего сослуживца невольно стала таять, на лбу выступила свежая испарина. Соблюдая все возможные предосторожно-

сти, он как на трон водрузился на предложенное ему доктором место.

– На что жалуетесь? – спросил доктор, поцарапав что-то недолго в своих бумагах. Сестры у него почему-то не было – и то ладно – будет не так стыдно. А то ведь он, бедный, всё представлял – что если и врач баба, и сестра у неё...

– Так на что жалуетесь? – повторил доктор, чтобы разбудить замечтавшегося пациента.

– Гай-мо-рит – по слогам произнёс тот.

– Давно у вас?

– Да нет, недавно. Жена сказала...

– Давайте посмотрим, – перебил врач и навёл мощную лампу прямо в лицо и без того бледного больного.

«Прямо как на допросе, – подумалось ему, – и инструменты подходящие. Сейчас он мне...»

– Поднимите голову, – потребовал врач. – Вот так.

Жёсткими умелыми руками он откинул крупную, поросшую седоватым ёжиком, голову пациента на подголовник.

«Интересно, что он ищет у меня в носу?» – подумал пациент, когда доктор засунул ему в ноздрю железную трубку, и начал, глядя в неё, что-то сосредоточенно изучать.

– Так, вроде всё нормально, – озадаченно сделал заключение врач и поправил очки на собственном, вполне соответствующем нации, носу.

– Откройте рот, – приказал он. Потом светил в самую глубь, в горло, похмыкивая, и лазил туда какими-то блестя-

щими палками.

Страдалец наш невольно припомнил один весьма известный в нашей стране ещё с советских времён анекдот (если кто не знает или позабыл – насчёт удаления гланд через задницу). Так вот, теперь всё было с точностью до наоборот. Вот до чего дошла отечественная медицина!

Ну, впрочем, в этом была своя сермяжная логика. Ротовая полость, в конце концов, является ничем иным, как входными воротами в желудочно-кишечный тракт. Некоторые вообще полагают, что голова для того, чтобы есть. Но это уже другой анекдот...

Так вот, после того, как доктор принялся изучать ещё и уши героя и, сделав ему больно, нетактично заметил, что их следует чаще мыть, тот наконец начал прозревать и кое о чём догадываться. Хотя...

– А голова у вас не болит? – спросил доктор.

– Голова не болит, – честно ответил пациент.

– Так зачем же вы пришли? Вам справка нужна?

– Понимаете, у меня болит совсем не голова, – начал издали мой бедный бывший сослуживец.

– Но ведь у вас, вы говорите, гайморит. Я вас осмотрел, у вас всё нормально. – Доктор опять углубился в свои бумаги. Внезапно он поднял глаза.

– Я вас больше не задерживаю, – резюмировал он жёстко.

– Но... – всполошился больной. – Вы же не посмотрели...

– Что я ещё должен посмотреть? – спросил доктор.

– Извиняюсь, у меня... – пациент, не найдя ничего лучшего, встал и, развернувшись к врачу тылом, показал, где у него болит.

Тут в воздухе повисло молчание. Наш страдалец боялся обернуться и посмотреть в лицо врачу. Молчание стало прерываться каким-то покашливанием или даже сипением. Герой вдруг разволновался от предположения, что самому лекарю в этот самый момент могло вдруг сделаться плохо – не мудрено ведь при такой нагрузке.

Он оглянулся и увидел, что врач беззвучно ржёт, упираясь локтями в стол и ловя сползающие очки.

– Как вы говорите... называется.. ваше... болезнь? – прерывающимся от смеха голосом выговорил он.

– Гайморит, – чётко, как солдат, ответил ошеломлённый пациент.

– Пой... дёмте, – продолжая похохатывать, выдавил из себя доктор и встал из-за стола. Он взял нашего любимца почти за шиворот и повёл вон. Те, кто успел занять очередь за героем, с интересом, и не без страха, наблюдали за действиями врача. Идти было недалеко. Нужный кабинет находился как раз напротив кабинета 31, по ту сторону просторного вестибюля. Доктор, не переставая судорожно всхохатывать, открыл тяжёлую дверь без стука и, заглянув, протолкнул внутрь совсем потерявшего дар речи толстяка...

Больные, и здесь парившиеся в ожидании, даже не успели возразить. Раз доктор привёл – значит надо.

Каково же было их удивление, когда они слышали откуда, где всем им предстояло пройти неприятные и постыдные процедуры, громовые раскаты хохота. Проктолог любил и умел смеяться.

Философское наступление

"Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями..."

Н.В.Гоголь

Жизнь – что это такое? Наверное, всякий знает, кто живёт. А вот если кто-то живёт и не знает, что живёт – живёт ли он? Как это чувствуют животные? Банальные вопросы...

Пока я не знал, что кто-то умирает, разве я знал, что живу? Разве умел я делить предметы вокруг на живые и неживые, пока не убедился, что кроме жизни существует смерть? Впрочем, насколько может подходить госпоже Смерти эпитет «существовать»? Он ей как-то не к лицу.

Я виделдвигающиеся и недвигающиеся предметы. Откуда я мог, например, заключить, что камень – не живой? Высокоироничные англосаксы так подобострастно относятся к собственным, истончённым многовековой культурностью, персонам, что склонны именовать даже тёпленьких и пушистых своих питомцев – которых они так любят – *оно*, или вернее – по-русски так даже и не скажешь – *it* – это уж точно что-то *не* живое.

Надо воистину себя чувствовать слишком живым, чтобы неживой показалась собака и кошка. Вот ведь и церковь христианская настаивает, что у животных нет души. Не знаю, из какого Евангелия они откопали эту сомнительную истину. Всё Святоотеческое Писание – в конце концов, является только традицией. А почему традиция должна быть так уж безоговорочно права? Может мне кто-нибудь объяснить? Англичане – вон тоже гордятся своими традициями. Неужели святые становятся святыми потому, что их признают таковыми на таком-то и таком-то Соборе?

Святость – может быть, её и следует воспринимать как наивысшую степень жизненности? Избыточность жизни, по-другому – витальность... А как же быть с умерщвлением плоти? Жизнь духа? Опять жизнь.

Я хочу поймать, но определение ускользает. И не такие хотели. Это как с определением времени у Августина – жизнь и время – не одно ли и то же? Мы можем проживать жизнь только во времени и ощущать время, только измеряя его собственной жизнью.

Буду только задавать вопросы, как Витгенштейн. Он полагал, что дело в языке. Да, язык – это лабиринт. И что Гегель, что Хайдеггер – в свете этого представления – выглядят как пресловутые змеи, кусающие сами себя за хвост. Уроборосы. Что' собственно они объясняли? Кому? А ведь люди учились, учили, получали стипендии и гонорары, делали выводы и даже революции...

Хайдеггер пытался развить мысль Ницше и трактовал о покинутости Богом. Но у Ницше не было мыслей, у настоящего Ницше. Когда он говорил по-настоящему – за него говорил Бог, Тот Самый, Которого он вроде бы отрицал. А Хайдеггера этот Бог покинул, вот он и распускал слюни по всем своим скучноватым и неудобопонятным (особенно для верующего читателя) книгам.

А Гегель и вовсе возомнил *себя* Богом. По сути – он был новым гностиком и ничем иным. Если всё укладывается в законы диалектики, значит всё замечательно можно разложить по полочкам. Аристотель тоже всё раскладывал по полочкам, и Фома Аквинский – но первый хоть в поэзии что-то понимал, да и модник был, а второй имел веру.

Вот я говорю о них, как о живых, а они все давно мёртвые. Но эта буря мыслей, эта болтовня, в конце концов, виновниками которой они были, живёт ведь до сих пор – и эти строки тому доказательство!

Вот так некоторые стремятся увековечить себя на бумаге, и ваш покорный слуга конечно тут не исключение.

Любовь к мудрости – это скорее любовь к жизни или любовь к смерти? Сократ вот говорил, что философия – это наука умирать, и я склонен ему верить. Я бы только для себя уточнил – не наука, а искусство умирать – ибо термин «искусство» предполагает импровизацию, оставляет, так сказать, больше свободы.

Какие плоды может принести любовь к мудрости? А если

никаких – нужна ли бесплодная любовь? Что это – интеллектуальный онанизм и больше ничего?

Чем можно оплодотворить Мудрость? Может быть, только верой? Solo fide. А что же, что же, что же родится? Вот треклятая схоластика! А может быть, у Мудрости, оплодотворённой Верой, и рождается Наука? Какая наука может существовать, в самом деле, без уверенности, что она права? Величие любой науки – только в ощущении собственной правоты.

Но какое отношение наука имеет к жизни? Наука имеет много гитик – это столь же верное, сколь и бессмысленное утверждение. Собственно, оно исчерпывает существо науки. Наука имеет много гитик, целый гарем. А кто такие гитики? Это объясняет наука. Таким образом – наука имеет самое себя. И больше ничем существенным она собственно не занимается.

Жизнь окончательно ускользнула от нас, пока мы философствовали. Может, уместнее ловить её поэтическим сачком? Этаких «склизких бабочек душить»... Но бабочки, на поверку, оказываются не такими уж склизкими – с них осыпается самая настоящая, цветная и душистая пыльца. А потом выясняется, что они вообще имаго, т.е. вылупившиеся и покинувшие оболочки, духи в чистом виде, – вот она тебе и жизнь, и уже никакой слизи и вони...

Надо плюнуть и отвлечься, посмотреть, вернее, послушать, как тикают часы. Это всего лишь механизм – но что

он отсчитывает?..

Покидая один зелёный холм, я перехожу на другой. И не один из новых холмов не кажется мне намного хуже или лучше предыдущего. Можно обосноваться на любом холме, или у подножья холма, завести свой дом, возделывать свой сад, породить детей, попробовать тачать обувь и всё такое.

Можно идти и идти и идти, пока ни сдохнешь, ибо земной шар круглый и это всё равно, что мотать круги на стадионе. Можно сварганить себе ракету и улететь из этого мира перпендикулярно. Можно вгрызаться в грунт, обнаруживая там полезные ископаемые, всевозможные клады и – чем чёрт не шутит – ады. Можно разглядывать вселенную в телескоп и в микроскоп, и ещё в – Бог знает какие – скопы.

Но чего же хочет душа моя? Где укрыться ей, за что зацепиться? Сама ли она идёт или ведёт её за ручку, а то и как собачку, на поводке, Мудрый Бог? Вот уж она и заскулила – как собачка...

Один мой друг говорит, что многие современные писатели берут тему и расцвечивают её, упражняясь в красноречии. Такое искусство подобно скорее искусству ювелира, делающего драгоценный оклад иконе, чем искусству самого боговдохновенного живописца.

Может быть, волей-неволей я уподобляюсь таким? Многих самых современных и лучших писателей хвалят за то, что они-де творят новые мифы. Так-то оно так, да не совсем. Даже Гомер, говоря строго, не творил мифы. Эти мифы су-

ществовали наверняка задолго до него. Он только обработал ходячие сюжеты, придал им солидную форму, правильный размер, добавил логики в мотивировки поступков и т.п. Т.е. он тоже вроде бы только расцвечивал, таким образом – что отражено в Манифесте Постмодернизма – являясь тоже постмодернистом. Ибо и до него уже в устной речи было много чего наворочено. Особенно – усердными бабушками и нянечками, рассказывающими своим дитяткам сказочки на ночь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.